Данкварт Пауль Целлер

Тайна партизанской Торы

Теологический детектив

УДК УДК 821.112.2-3 ББК 84(4Гем)6-4 Ц 34

Еврейская община Петрозаводска выражает искреннюю благодарность тем, кто помог в русском издании этой книги:

Общине Дитрих-Бонхоффер (Тюбинген), Алисе Рыбак, Ларисе Рыбак, Юрию Рыбаку, Марку Ицковскому, Фане Цукаревой, Григорию Ицковскому, Фаине Линской, Марте Цвибель, Нине Карамышевой

Ц34

Целлер, Данкварт Пауль. Тайна партизанской Торы: теологический детектив / Данкварт Пауль Целлер; [пер., примеч., глоссарий: Ирина Бенземан-Рывкина; ред. пер.: Дмитрий Калевский]. - Петрозаводск: ПИН, 2012. - 128 с.

ISBN 978-5-904704-14-8

УДК УДК 821.112.2-3 ББК 84(4Гем)6-4

© Целлер Д. 2012

© Типография ПИН, 2012

Тайна партизанской Торы

Теологический детектив

Перевод, примечания и глоссарий: Ирина Бенземан-Рывкина

Редакция перевода: Дмитрий Калевский

Предисловие

«Любая история о войне и фашизме – история преступлений. Вот и у нас с тобой получился теологический детектив». Так автор охарактеризовал жанр одной из интереснейших и увлекательнейших историй, которые я читал в последнее время.

Необычное слово «теологический» в названии жанра — не просто средство завлечь читателя. Довольно хорошо известно, что историю христианства можно представить как историю преступлений. Сколько их было совершено именем христианства! Данкварт-Пауль Целлер стремился не только написать еще одну биографическую историю из времен национал-социализма и войны, но и, критически осмыслив эту эпоху в связи с настоящим и будущим, показать, как глубоко укоренившиеся внутри христианской церкви предрассудки привели к тому, что в Европе двадцатого столетия стали возможны чудовищные зверства против евреев.

Не менее необычно употребленное автором в заглавии сочетание слов «партизанская Тора». Что же за тайна у этой Торы и почему с этой Торой связано преступление? Мы не хотим заранее снижать напряженного интереса читателей, только слегка приподнимем завесу над драматической историей, вскрывающей причины многовековой вражды христиан к евреям. Действие детектива начинается в Венеции в семнадцатом веке, продолжается во время Второй Мировой войны в Хорватии и заканчивается в наши дни в Тюбингене и его русском городе-побратиме Петрозаводске. Книга не просто рассказывает о преступлениях и злодеяниях, но, что особенно важно, говорит о происходящем в наши дни примирении. По мнению автора, нельзя разделить то и другое: христиане должны признать долю вины за преступления против евреев и сделать первый шаг навстречу искуплению. В этом и состоит «соль» книги: размышления о прошлом не парализуют волю, а дают толчок для нового начала в отношениях между людьми. Помириться никогда не поздно. Проклятье прошлого не может служить оправданием нынешнего бездействия.

В книге рассказывается история свитка Торы. Благодаря политике перестройки Горбачева, стали возможными побратимские связи между немецкими и русскими городами, в частности, между Тюбингеном и Петрозаводском. В Петрозаводске существует еврейское культурное общество, но религиозная община не может проводить богослужения из за отсутствия свитка Торы, для приобретения которого не хватает средств. Два протестантских священника из Тюбингена организуют сбор денег и покупают Тору в Лондоне. При передаче Торы общине в Петрозаводске на одном из грифов главный герой замечает надпись: «Getto Nuovo» – название еврейского гетто в Венеции. Тюбинген – Лондон – Венеция – так развивается драматическая история поиска. Какими судьбами попал этот свиток в Лондон если очевидно, что он из Венеции? Через какие события и по каким местам он прошел? Какие люди втянуты в эту историю?

Всё это выдумка? Почему бы и нет? Рассказать хорошую придуманную историю всегда лучше, чем цепляться за жалкую реальность. Но в книге Данкварта-Пауля Целлера переплетаются вымысел и живая история. Целлер (1924 — 2010) — сам протестантский теолог из Швабии, тридцать лет прослуживший пастором. В конце 80-х годов, выйдя на пенсию, он включился в построение побратимских связей между Тюбингеном и Петрозаводском и многократно посещал Россию, внося огромный вклад в дело примирения прежде враждовавших народов.

В эволюции взглядов автора решающее значение имел личный опыт. С восемнадцати лет, с октября 1942 по май 1945 года, Целлер был участником военных событий, в том числе и на русском фронте. В вышедшей в 2006 году автобиографической книге «Прощание с Иовом» Целлер, стараясь разобраться в своих чувствах, пишет о том, что он пережил в 30-40-х годах. В 1938 году он, четырнадцатилетний мальчик, становится очевидцем поджога синагоги в одном из районов Штутгарта – Бад-Канштате, видит унижения, которым подвергают местных евреев. В 1941 он присутствует при аресте двух евреев в пансионе его родителей там же, в Бад-Канштате, а в 1943 году наблюдает в Кракове медленно ползущий мимо товарной станции депортационный поезд, набитый людьми, еще не знающими, что через тридцать километров состав закончит свой путь в Освенциме. Десятилетия критических размышлений привели протестантского священника к выводу, что уничтожение евреев фашистами не было исторической случайностью. Оно было духовно подготовлено антииудаизмом, который столетиями пестовала христианская церковь, в том числе и лютеранская. Таким образом, вину за преступления против евреев нельзя сваливать только на нацистов; криминальная энергия фашизма имеет религиозно-исторические корни. Христиане Германии не оказали сопротивления принятию унижающих человеческое достоинство расовых законов в начале господства национал-социалистов, не говоря уже об окончательном решении еврейского вопроса во время Второй Мировой войны. Израиль давно был уничтожен теологически, прежде чем началось его физическое истребление, за которым христиане наблюдали со стороны.

Осознав это, Целлер заметил, что в послевоенное время в университетских программах теологических факультетов Гёттингена и Тюбингена, где он учился, священному закону евреев — Ветхому Завету, и тем более живому иудаизму и его связи с христианской церковью не придавалось почти никакого значения. Оказалось, что, обвиняя иудеев, христиане совершенно не заботятся что-то узнать о них! В 50-е и 60-е годы драма Холокоста еще не воспринималась всерьез ни евангелической, ни католической церковью.

Личные переживания 1938, 1941, 1943 годов и память о четырех годах русского плена не оставляли пастора и после выхода на пенсию. Мощным стимулом к переосмыслению прошлого послужила знаменитая речь бундеспрезидента Рихарда фон Вайцзекера 8 мая 1985 года. Данкварту-Паулю Целлеру неожиданно открылась новая перспектива на священные тексты. Он начинает по-новому читать Послание к Римлянам Апостола Павла, где в «Трактате об Израиле», в главах 9-11 говорится о нерасторжимой связи между Богом и Его народом Израиля. В результате Целлер принимает участие в первом берлинском мероприятии под названием «Ночная Стража: помни, не забудь!» Этот проект поддерживается берлинцами с тех пор в течение многих лет.

Итак, у Данкварта-Пауля Целлера есть интересная история, *его* история, составляющая сумму жизненного опыта человека, служителя церкви, и оригинальный взгляд на новые отношения между христианами и евреями. История рассказана образным языком, занимательно, захватывающе и трогательно. Это завещание новым

поколениям. Они имеют другой опыт, нежели Пауль Целлер, но именно на них ложится ответственность за будущее. Поэтому можно смело рекомендовать книгу этого активного гражданина и христианина также и молодым читателям.

Несмотря на все успехи в деле сближения, отношения между христианами и евреями в Германии по-прежнему остаются хрупкими и требуют поддержки, чуткого внимания и вдумчивого осмысления. Необходим непрерывный диалог между двумя сторонами и кропотливая совместная работа. Неслучайно Целлер начинает историю «партизанской Торы» рассказом о возведенной много веков назад церкви – одной из красивейших церквей Венеции – собора Санта-Мария-делла-Салюте. Собор был построен на средства венецианцев, в том числе и евреев, в благодарность за окончание чумы. Где сегодня воздвигнуты храмы в благодарность Богу за победу над фашизмом? Где – с помощью христиан – будут построены синагоги в благодарность за то, что выжил народ, который был и остается первой любовью Бога? Вопросы побуждают читателя к дальнейшим размышлениям и действиям.

Перед Вами история «партизанской Торы». В ней мало выдуманного. Может быть, она отчасти сама отвечает на вопрос, который задал себе в Венеции главный герой повествования Теофил Бётчер, стоя на площади перед собором Санта-Марияделла-Салюте: Где же сегодня соборы Салюте, построенные в благодарность Богу за окончание европейской чумы 20-го века, фашизма, за окончание войны в Европе и Холокоста? — где храмы, созданные в ознаменование осознания причины безумия — двухтысячелетней вражды христиан к евреям? Может быть, первая построенная после Великой Отечественной войны в России синагога в Петрозаводске стала бы таким «Салюте» — домом Божьим?

Карл-Йозеф Кушель Профессор католического теологического факультета университета Тюбингена

Комментарии к переводу

С Данквартом Паулем Целлером я была знакома много лет, две его первые книги автобиографического характера не оставили меня равнодушной. Когда стало известно, что он работает над новым произведением, я поинтересовалась у него о чем оно. Обычно не любивший заранее рассказывать о своих планах Пауль, на этот раз обронил с улыбкой: «Главный герой — Тора, которую мы подарили жителям Петрозаводска».

О повести говорили еще до выхода ее из печати. Недаром предисловие написал известный не только в университетском Тюбингене, но и во всей Германии профессор богословия Карл-Йозеф Кушель.

Книга оказалась не только о Торе. Яркие характеры, исторические параллели, религиозные и философские раздумья, стремление объяснить стоящую перед десятками поколений проблему антисемитизма — все это делало произведение необычным, интересным и многоплановым.

Поскольку жители Карелии являются участниками описанных событий, сделать возможным знакомство с ней русскоязычного читателя показалось мне логичным и необходимым. Пауль восторженно поддержал эту идею: «Это было бы замечательно!» Так с его благословения я взялась за этот новый для меня труд, ясно представляя себе всю сложность поставленной задачи.

Работа оказалась непростой и очень интересной. Хотелось, чтобы читатель услышал живой голос автора, его образную речь. Размышляя над жанром этой исторической повести, я сравнивала ее по эмоциональному воздействию с картинами немецких экспрессионистов, когда художник крупными яркими мазками наносит на полотно, картины древней и новейшей истории, стремясь передать характерные моменты разворачивающихся событий. Таким образом ему удалось в форме приключенческого повествования говорить о действительно важных проблемах, через действия героев ставить глобальные вопросы и пытаться найти на них ответы.

С самого начала я окунулась в проблематику науки о переводе. На этом этапе меня поддержала ценными советами опытный редактор и переводчик Лидия Викторовна Друскина (Тюбинген). Под ее требовательным руководством постепенно удавалось находить форму и тон изложения, с одной стороны наиболее соответствующую оригинальному немецкому тексту, с другой стороны, доступную для русскоязычного читателя.

Постоянно помня, что Д. Пауль Целлер был богословом, пастором в четырнадцатом поколении, и осознавая насколько важно было для него все сказанное, я с особой тщательностью и осторожностью старалась найти соответствия приводимых автором немецких переводов Библии с русскими. При этом я обращалась как с современному синодальному варианту перевода Библии, так и к блестящему переводу С. С. Аверенцева, замечательному как по художественным качествам, так и по бесценному богатству комментарий, сопровождающих текст. Большую помощь в этой работе своими ценными советами мне оказал известный своими работами в богословском мире отец Игнатий Крекшин (Тюбинген).

Христианство рождалось в мучительной борьбе с греческим политеизмом. Противопоставление Бога единого сонму богов древних греков было характерным для религиозных философов того периода. Этот прием использовал П. Целлер для достижения эмоционального накала при описании ужасных картин эпидемии чумы 17 века в Венеции, в диалогах действующих лиц. Правильность перевода аллегорических сравнений потребовала от меня углубления знаний греческой мифологии.

Теме Венеции в повести уделено особое место. Знакомясь с материалами по истории города-республики, государственному устройству и градостроительству, в

частности, уточняя архитектурные особенности собора Санта Мария деля Салюте, я понимала, какую важную смысловую нагрузку несут эти детали в общем контексте поставленных проблем.

Документальные и художественные фильмы итальянских и немецких кинематографистов, посвященные периоду фашизма в Италии и на Балканах, позволили разобраться в противостоянии враждующих сил, в военных действиях на севере Италии и на Балканском полуострове.

Увидеть своими глазами гетто Нуово, музей гетто, посетить испанскую и ашкеназийскую синагоги, пройти по тем же улицам до станции, с которой увозили депортированных жителей гетто в концентрационные лагеря было для меня очень важным, надеюсь, это помогло избежать ошибок в переводе.

Некоторые неточности в описании устройства синагоги пришлось корригировать, опираясь как на известные каноны, так и на собственные впечатления от посещения синагог (Иерусалим, Цфат, Венеция, Триест, Будапешт и др.). Для правильного перевода текста, описывающего праздничную передачу свитка Торы представителям еврейской общины Петрозаводска и воспроизведения особенности внутреннего интерьера синагоги я обратилась за помощью к супругам Лернер, бывшим на протяжении десятилетий членами общины. Помогли также фотографии синагоги.

Не стоит забывать, что написанная на основе действительных фактов повесть, является не документальным произведением и предполагает художественный вымысел. Пауль Целлер и сам неоднократно это подчеркивал.

Прошло полгода, как не стало Д. Пауля Целлера, но как это бывает, когда от нас уходят необычно яркие личности, образовавшаяся пустота, оставленная им, не заполняется и остро ощущается всеми, кто его знал. Если эта повесть заставит читателя задуматься, послужит источником размышлений, то цель автора будет достигнута. Это стало бы лучшей памятью для большого друга жителей Петрозаводска Данкварта Пауля Целлера.

Сердечно благодарю всех, кто своими советами помог мне в работе: Елену Дмитриевну Клипинину-Аржаковскую, супругов Галину и Михаила Ройзенов, Людмилу Фирсову, и особенно Якова Рывкина, в обсуждениях с которым наиболее спорных мест рождались приемлемые варианты.

Письмо из Венеции Маша Калеко*

Гондола – новобрачным дом родной, В гондолу надо парой, не одной... И, сиротливо ежась на плаву, С «Бедекером» в обнимку я плыву.

...

В Сан-Марко ясно всякому профану, Что здесь восток и сказочные страны. Архаика!.. И непонятно, где я: Порой с мозаик взглянет Иудея.

В Салюте месса и католицизм, А в сердце застарелый скептицизм – Не отогнать вопроса фимиамом: За что они, Марии строя храмы,

Ее народ преследовать готовы? Вечерний звон да сумрачный хорал В ответ — а по мосту через канал Домой плетется Шейлок в гетто Нуово.

-

^{*} Перевод Д. Калевского.

^{† «}Бедекер» – имеется в виду путеводитель издательства Bädeker, один из лучших и популярнейших среди туристов.

Конец черной чумы 1630

I

Прошел целый час, а дож Николо Контарини все стоял на маленьком балконе Дворца Дожей и смотрел на безлюдную площадь. На шее у него белел накрахмаленный платок — защитная повязка от чумы. Мощеная площадь после дождя напоминала переливающееся в лучах вечернего солнца озеро, северные и южные берега которого казались ажурными от бесчисленных аркад. Узкие улицы, как реки, разбегались из этого озера, чтобы, петляя, затеряться в отдаленных приходах на лагуне. Дож никак не мог прогнать встававшие у него перед глазами жуткие сцены, что разыгрывались на площади в последние два года.

«О, Мадонна!»

Каждое утро, когда небо на востоке над островами розовело и улетал сон, он шел под дальний звон колокола с кампанилы к утренней службе, к Ave Maria и Paternoster. Тогда же просыпалась и площадь. Прежде ее наполняли голоса торговцев и базарного люда, покупателей, комедиантов и певцов. Теперь она превратилась в угрюмый храм, где ежедневно совершались молчаливые мессы у алтаря черной смерти. Назначенные синьорией помощники в развевающихся плащах, с самодельными защитными масками на лицах, торопливо передвигались по площади, словно стараясь ускользнуть от невидимого стрелка, вышедшего на охоту. Они обходили с носилками дом за домом, ворота за воротами, чтобы забрать трупы умерших за ночь и сложить их на краю площади в чудовищные стога.

Среди работавших на площади дож часто видел доктора Роберто Гардини в черном плаще до пят, в белой маске с огромным клювом. Доктор то и дело подходил к обернутым в саван телам, чтобы окончательно убедиться, что они мертвы.

Даже самое большое наводнение не могло бы смыть из памяти эти картины: как из опасной тесноты улиц выносят тяжело нагруженные носилки, как тела сваливают на краю площади, как горы трупов растут с каждым днем, потому, что извозчики чумных телег не поспевают за неистовым жнецом. Часто до наступления темноты с площади увозили сотни мертвецов. Почти каждый третий из ста шестидесяти тысяч венецианцев пал жертвой заразы.

И вот свершилось это чудо! Пустая, омытая дождем площадь Святого Марка, на которую еще не осмелился выйти ни один житель города, словно по волшебству освобождена от призраков ада! Последние сложенные у аркад человеческие тела были увезены вчера в середине дня. Maria benedetta! — Мария благословенная! Это Ты прогнала кошмар, это Твоим заступничеством адская пасть закрылась, необъяснимо и внезапно, будто повинуясь приказу с небес.

Час назад приходил доктор. Без донесения, он ворвался в зал, завешанный темной тканью: «Дон Николо, все миновало! Слава Марии! Чумной черт перебесился...» Тяжело дыша, он остановился посередине зала:

«Двенадцать часов мы обходили все улицы и площади, оповещая жителей о нашем приходе. Мы не нашли ни одного больного! Сеньор, у нас не было мертвецов со вчерашнего дня!

Ты знаешь, я врач, и мне трудно поверить в чудо. Но как иначе мне объяснить эти двенадцать часов? Неужели наши молитвы, наши вопли, наше покаяние?..»

«Роберто!» – дож, едва не опрокинув обитое парчой сиденье, вскочил навстречу доктору и сжал его в объятьях на несколько мгновений – это был неизъяснимый миг счастливого избавления. Потом он разнял объятия, выпрямился и несколько минут стоял перед доктором, погруженный в себя. Наконец с его губ сорвался мучительный вопрос:

«Скажи мне, Роберто, если я должен верить тому, что ты говоришь, а я всем сердцем хочу верить твоему известию, которое я так жаждал услышать изо дня в день — ответь мне, почему это случилось, за что нам выпало это двухлетнее испытание? Это был суд над нами? Или просто игра бессмысленной и безжалостной Судьбы?»

Доктор, пожав плечами, посмотрел мимо него:

«Дон Николо, ты не можешь не знать, что говорили в городе, когда чума только началась: евреи! Возможно, это дело рук евреев. Не странно ли, что гетто Нуово осталось почти нетронутым болезнью. Они заперли ворота и покидали свой квартал, только если нуждались во враче или должны были запастись зерном или рыбой. Они подкупили одного чумного бродягу из Падуи мешком снеди и выпивкой, чтобы он забрел на наши острова и пустил заразу в город. Во всяком случае, на площади нашли труп одного бездельника, навалившегося на туго набитый мешок с мацой — а мацу никто не ест, кроме евреев.

Я разговаривал с несколькими священниками, и никто не стал сбрасывать моего подозрения со счетов. Однако кардинал, когда я в беседе затронул этот предмет, сказал, что с этими слухами надо быть осторожней. Но один знающий священник — ему уже за восемьдесят — совершенно серьезно говорит, что евреи делают подобное не в первый раз. В Падуе они отравили колодцы, в Ломбардии осквернили гостию, а на свой праздник Песах они пьют кровь христианских младенцев, глумясь над жертвенной кровью Христа. Так почему бы им не пожелать нам чумы? Этот священник...»

«Прекрати, dottore! – прервал его Николо. – Если есть Бог, разве смог бы Он допустить такие дьявольские злодейства? Ты же врач и привык верить фактам. Ты можешь подтвердить свои подозрения фактами? Ты сам эту мацу видел? Или, может быть, тебе известно имя того, кто видел? Даже если история с мацой – правда, доказывает ли это, что евреи хотят уничтожить свой собственный город? Не мог ли какой-нибудь ненавистник евреев подбросить мацу в мешок, чтобы навести на них подозрение?

Ты знаешь, я никогда не был другом евреев. Несколько лет назад я сам ужесточил для них законы: ночью и на Рождество ворота гетто должны запираться и евреям нельзя покидать их квартал. Они должны носить отличительный знак — желтую нарукавную повязку. Но, дражайший dottore, мы должны их терпеть. Они сведущи во многих искусствах, но для нас важнее всего их таланты торговцев и ростовщиков. К тому же, они не могут брать с должников больше пятнадцати процентов — об этом я позаботился, и их помощь может пригодиться даже тебе.

Венецианское гетто — первое в своем роде в Европе. Оно учреждено по поговорке «и вам, и нам» — мы берем в долг их деньги, а они отправляются на окраину города — и все на своем месте, и все в порядке. Вот образец для подражания тем, кто не знает, что делать со своими евреями!

Кардинал – умный человек: чтобы служить церкви, ему нужны дукаты. Он прав, когда призывает к осторожности, и на его стороне восьмая заповедь.* Не забывай об этом, dottore!»

«Ну, хорошо, – уже тише сказал Роберто Гардини, – доказательств, что слухи о евреях – правда, нет ни у меня, ни у старого священника. Но ведь и обратное никто не может доказать. Сколько несчастий принесли евреи человечеству с тех пор, как они убили Бога на Голгофе!» Доктор опять разгорячился: «Доверять им...»

«Прекрати, Роберто! Оставь хотя бы теперь мысли о евреях. Опровержения имеют больший вес, чем слухи и сплетни этих легкомысленных людей и клеветников. И все доносчики, из ненависти занимающиеся такими делами, мне противны.

Если это не было злой волей людей, не должен ли нас мучить вопрос всех вопросов: почему это случилось? Было ли это Божье наказание или Мойра** древних греков, чей безжалостный произвол и насилие вырвали из жизни пятьдесят тысяч женщин, мужчин, детей, стариков, богатых и бедных, виновных и невиновных, надеявшихся и отчаявшихся, благочестивых и сомневавшихся. Треть города забрала чума в царство смерти. Почему, Роберто, скажи мне, почему?»

Доктор молча опустил голову.

«Я знаю, моя речь может звучать богохульно, – продолжал дож после паузы, – и упоминать Бога и Мойру в одной строке – словно взвешивать на одних весах Вечного Создателя и слепую Судьбу. Но я знаю и другое: весть, принесенное Тобой, заставляет все вопросы смолкнуть; она обезоруживает все рассуждения и ставит неблагодарность к позорному столбу. Не ты ли сам, о, ученейший медикус, говорил об избавлении от чумы как о чуде?

Ах, Роберто, что же нам остается, кроме косноязычного трепета? Твое известие дальше, чем звезды, от нашего понимания и разумения. Муsterium, Тайна – вот, что это такое! Это десница небес, должную хвалу которой бессильны вознести мы, нищие и жалкие...

Так и следует нам относиться к происшедшему: это Тайна, которая выше всяких «за что» и «почему». Ты верно заметил: нынешний день окутан чудом, а не могильным саваном, и никто не упрекнет нас, если мы в благодарность дадим этой Тайне имя – имя Пресвятой Марии, нашей заступницы перед Богом».

«Сеньор, я бы не смог лучше выразить словами то, что все мы чувствуем. Завтра я приду опять, чтобы сообщить точные сведения и получить указания».

Дож поднял правую руку в прощальном жесте и медленно направился к балкону. Мысли в его голове стремительно сменяли одна другую.

Он любил этот обрамленный тонкими мраморными колоннами маленький выступ. Этот было место его благоговейных раздумий и молитв. Здесь он испытывал состояние, в котором сливались восторг от вида на грандиозную архитектуру площади, где пульсировало сердце города, на лагуну с сотнями остров и сливающимся с небом мерцающим горизонтом — и нечто другое — погружение в себя, в свое сердце, в мир безмолвных вопросов и сомнений, зарождающейся надежды и крепнущих желаний.

II

Прошел час после ухода доктора, час сосредоточенного уединенного раздумья. Перед глазами снова и снова вставали образы недавнего адского праздника смерти. Это был час борьбы с искушением возвращения к прошлому, жертвой которого однажды стала жена Лота.

Когда последние лучи заходящего солнца коснулись крыши кампанилы, одна мысль словно прожгла путаницу чувств дожа. Из самой глубины его души поднялось решение, перед которым окончательно отступила меланхолия:

«Мы пережили ужас бессилья и удостоились чуда исцеления. Мы должны противопоставить горечи несчастья нашу готовность продолжать жить, нашу благодарность Богу и наш трепет перед Ним, наше смирение и нашу гордость за спасенную республику. Мы построим Марии, исцелившей нас, прекраснейшую в

городе церковь на прекраснейшем из мест, которые еще остались свободными — вон там, на канале Гранде, на мысу Дорсодуро, близ морской таможни. Мы назовем церковь «Мария-делла-Салюте», Мария Спасения. Завтра рано утром я созову синьорию, чтобы просить ее согласия».

Бывают разговоры с самим собой, которые оставляют в душе осадок сомнения, удрученности и пустоты, бывают и такие, которые приводят к озарениям. Когда после часа размышлений на балконе дож вернулся в уже освещенный масляными лампами и свечами зал, было видно, что в нем произошла перемена — его глаза горели. Они горели не отражением пламени светильников — это сердце дожа пылало мечтой и благодарностью: благодарностью за избавление от чумы, мечтой о каменном памятнике этому чуду, который будет жить в веках.

Собрание совета состоялось на следующее утро, за несколько часов до того, как с кампанилы донесся звон колокола, зовущего к полуденной молитве. Советники, измотанные двухлетней всенародной бедой, с волнением слушали речь дожа. Никаких возражений не было. Члены синьории разделяли воодушевление автора грандиозного замысла.

Только двое из них во время перерыва шептались с синьором Кверули, который узнал что-то новое о «еврейском заговоре», но никто не посмел открыто распространять эти ядовитые слухи среди собравшихся.

В первых звуках полуденных колоколов некоторым уже слышалось имя новой церкви: «Сан-та Ма-ри-я дел- ла Са-лю-те».

Среди архитекторов республики выбор пал на Бальдассаре Лонгена, знатока позднеантичного и византийского искусства. Он пользовался доверием синьории и строил по заказу государства. Лонгена не стал строить церковь с базиличной структурой. По замыслу архитектора, новый собор должен был представлять собой полностью облицованное мрамором восьмиугольное сооружение с двумя куполами и двумя звонницами. Вокруг центрального помещения, которое освещалось через окна, должны были разместиться семь капелл – и все покрывал огромный центральный купол на восьми опорах.

Строителям, каменотесам и скульпторам, каменщикам и плотникам, штукатурам и малярам было отпущено достаточно времени. Полстолетия они работали над этим благодарственным памятником. Этот собор — символ города — строился на совесть: Бальдассаре не терпел небрежности.

Венецианские знатоки искусства позже с патриотической гордостью говорили, что Мария-делла-Салюте со своей величественной гармонией целого и частей – уникальный архитектурный ответ со стороны всей Италии вычурному римскому барокко.

Дож Николо Контарини не дожил до завершения собора. Бальдассаре Лонгена тоже умер за пять лет до того, как было освящено его детище. Работы завершались под началом другого архитектора, Роберто Гаспари.

В день освящения 21 ноября 1687 года, через пятьдесят семь лет после начала строительства, дож Маркантонио Джустиниан и кардинал приняли из рук Гаспари ключ от собора. Глава городского совета дал торжественный обет от имени синьории перед тысячами собравшихся: в будущем ежегодно после торжественной службы в церкви, венецианцы будут отмечать этот день как народный праздник на площади.

Город придерживается этой традиции и в наши дни: ежегодно здесь проводится «Салютефест».

Но над сводами церкви нависала пришедшая из глубины веков тень, которую не видел, не различал никто по эту сторону стен гетто — ни князья церкви, ни светские властители, ни тем более крещеный народ, привыкший принимать за истину все, что им говорят священники и городской совет. Надо рассказать об одной сцене, на которую никто не обратил внимания, но в свете которой становится видна величайшая трагедия западного мира. Эта сцена произошла на освящении собора, когда дож с кардиналом впервые торжественно открыли его врата, и народ волнами устремился внутрь святыни. На нижней из шестнадцати ступеней помпезной лестницы, ведущей к собору, стоял дон Самуэле со своей женой Сарой и пристально смотрел поверх людских голов на украшенный лавровыми листьями портал собора и на византийский свод, венчающий этот шедевр. Дож пригласил банкира из гетто на праздник освящения храма по предложению кардинала — это был благородный жест, полный великодушной терпимости к иноверцу — впрочем, если не вспоминать, сколько тысяч дукатов дон Самуэле отдал в долг кардиналу на строительство Дома Божия под низкие проценты.

Но Дома Божия или Дома Святой Марии? Банкир был правоверным иудеем, строго соблюдавшим еврейские ритуалы — все законы о чистоте и питании, все тонкости шаббата. Он не считал грехом ссужать христианам деньги под проценты. Дон Самуэле хорошо знал Тору и постоянно спорил с рабби Мойше из ашкеназской синагоги в гетто, который колебался в вопросе о том, насколько допустимы деловые отношения с христианами. Поэтому не было ничего удивительного, что день освящения собора дон Самуэле переживал со смешанными чувствами.

Самуэле поднял руку, взволнованно показывая наверх и громко говоря: «Ты только посмотри, Сара, там наверху, в тимпане, на каменной дуге над порталом восьмиконечная золотая звезда, и совершенно такая же – над боковыми капеллами. Повсюду звезды с восемью лучами! Почему они таки стыдятся нашей шестиконечной звезды Давида? Разве не был царь Давид предком и их Иисуса, этого прекрасного еврея из Назарета? А Мария! Вся Венеция битком набита этими Мариями, а тут уж и подавно: «Мария делла Салюте»! Почему гои не оставят ее в покое? Это ведь просто еврейская девушка, честное слово, простая еврейская батрачка, скотница или служанка! И она родила простого еврейского ребенка, который стал таки важный человек. Я даже признаю, что он был голова, большой раввин и даже пророк. Но, я тебя спрашиваю, что эти гои сделали из его матери, и из него тоже? А я тебе отвечу: из нее сделали Богородицу – тьфу! – и Святейшую Деву Марию! Ей молятся, как небесной царице, которая может все, даже чуму победила. Они сделали из нее божество, и мне это смешно! При этом они ссылаются на пророков, на Исайю! Он сказал: «Се, девушка во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Иммануил, что значит «С нами Бог»» (Исаия гл.7:14). И как же христиане это толкуют? А я тебе скажу, как: они все перевернули с ног на голову и утверждают, что Исайя хотел предсказать рождение Иисуса как Мессии – а из девушки эти шлимазлы сделали девственницу!..»

Сара, хрупкая черноволосая и кудрявая, испуганно закрыла рот рукой: «Ты потише орать не можешь? – вон идут двое в форме!»

Самуэле присмирел. Впрочем, он продолжил говорить, но уже тише. Правоверного еврея просто оскорбила эта восьмиконечная звезда: «А внутри, мне сказали, честное слово, там стоит не только истукан так называемой Богоматери, которая по просьбе Венеции прогнала чуму. Что мне не нравится больше всего, там полно распятий. Это же главная причина, почему они так нас ненавидят – они на

полном серьезе говорят, что мы – богоубийцы, поскольку убили Христа. Как будто это не римляне приколотили Иисуса к кресту!

Нет, ты только посмотри на мраморные статуи в нишах, внутри и снаружи: Авраам, Моисей, Давид, пророки — можно подумать, эти гои принимают всерьез наш Танах как свой Первый «Завет»». Но наши пророки тут стоят не ради себя самих, а как предшественники Иисуса «Христа», Мессии, будто они дорожные вехи. На нем, на Иисусе история союза Создателя с нашим народом пришла к концу. Они украли нашу историю отношений с Вечным и приписали ее себе! Они, христиане, говорят, будто бы пришли нам на смену. И земля обетованная уже обещана не нам, а им, и вместо Синагоги теперь у Бога есть Церковь.

Знаешь что, Сара, меня сюда пригласили, и тебе таки известно, почему. Но я не перейду порог этого дома. Это дом их «Марии», а не дом Вечного, не дом Бога. Я остаюсь при нашем «Шма Исраэль, адонай элохену, адонай эхад!» – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един»». Этим символом веры Самуэле завершил свою филиппику.

Банкир взял Сару за руку, и они двинулись прочь от собора, против течения толпы. Самуэле обернулся на кардинала, чтобы, как того требовала учтивость, поклониться ему. Кардинал стоял у врат и благословлял входящих прихожан. Он вряд ли заметил дона Самуэле.

Праздник освящения собора закончился. Давка на площади перед собором постепенно улеглась, толпа вышла на улицы и переулки Дорсодуро, где у причалов пассажиров ждали гондольеры и лодочники, надеявшиеся на большую выручку. Те, кто остался праздновать, теперь сидели за столами по краю площади над кружками с Pinot Grigio или Merlot, усваивая впечатления, накопившиеся за день. Опустились сумерки, на короткое время небо преобразилось и порозовело от лучей заходящего солнца, словно небесный купол, в порыве благодарности и умиления, хотел стать одним из куполов нового собора.

Маркантонио Джустиниан, погруженный в размышления, стоял, прислонившись к одной из дуг портала. Его взгляд остановился на медленно приближающейся к церковной лестнице сгорбленной фигуре в черном плаще до пят. Старик поднимался по ступеням, опираясь на палку с серебряным набалдашником и волоча правой ногой. Неужели это доктор Роберто Гардини – тот самый, что в молодости рисковал жизнью, когда спасал чумной город, и за это удостоился наивысших наград за заслуги перед республикой?

Дож поспешил вниз по лестнице навстречу доктору: «Приветствую Bac, dottore! Хорошо, что Вы все-таки пришли, хоть торжества уже закончились. Это и к лучшему – желаете осмотреть храм теперь, когда здесь никого нет?»

«Ах, сеньор, для этого еще будет время. Я живу здесь неподалеку на Дорсодуро, но теперь редко выхожу из дома. Моя внучка, которая ведет наше домашнее хозяйство, бережет мою больную ногу, как зеницу ока».

Они опустились на ступеньки лестницы.

«Нет, – продолжал Роберто, – я только хотел зайти к кардиналу, теперь, когда улеглась эта суета».

«Он ушел час назад. А что Вы хотели от него?»

«Жаль! Я хотел – возможно Вас удивит услышать такое от закоренелого скептика-реалиста, еще более утвердившегося в своем скептическом реализме к концу

своих дней — но я хотел просить у кардинала благословения на мой минувший день рождения».

«Сколько же лет у Вас за плечами?»

«Вы вряд ли поверите, сеньор, мне минуло девяносто. И мне немного осталось. Я не дорого ценю предсмертное соборование, но основа всех вещей, эта удивительная Тайна, которая нас окружает и которую мы называем Богом, вызывает в моей душе глубочайшее благоговение. Божие благословение — ах, мой дож, не правда ли, что это благословение, которое сопровождает нас от первого вздоха до могилы, должен получить каждый? Разве мы нуждались бы в руке, благословляющей нас, если бы через нее нам не подавался знак милости к нам свыше?»

«Вы говорите как священник и одновременно как тайный бунтарь. Завтра кардинал проводит утреннюю службу, и Вы сможете с ним встретиться».

«Я приду, — откликнулся доктор и продолжал надтреснутым голосом, — мне передали, что сегодня утром Вы от имени синьории учредили в этой церкви ежегодный Праздник Благодарения. Это напомнило мне о том часе, когда я пятьдесят лет назад принес новость об окончании чумы дожу Николо Контарини. Это был замечательный день! И какой длинный у нас с ним состоялся диспут! Тогда я был горячей головой, но до сих пор, уже глубоким стариком, не откажусь от одного из своих пунктов: это исцеление было несказанным чудом, выпавшим на нашу долю. Поэтому и Ваш сегодняшний благодарственный обет, и этот собор — достойный ответ на это чудо. А на вопрос, почему эта напасть должна была случиться, всякий человеческий ответ будет дерзостью».

«Однако меня занимает, каково Ваше нынешнее мнение на этот счет, dottore?»

Роберто Гардини колебался. Слишком мало он знал дожа, чтобы сразу открыть ему свои тайные сомнения. Но в том, что так долго его мучило, он теперь может признаться. Ведь прошло уже полстолетия:

«Я не хочу от Вас скрывать, что тогда я согрешил, передав дожу отвратительные слухи, будто в чуме повинны евреи».

Маркантонио, сидевший на ступенях, уперев локти в колени, вдруг выпрямился, пристально посмотрел на врача и, понизив голос, сказал: «Знаете ли Вы, что сегодня здесь присутствовал самый влиятельный банкир из гетто Нуово дон Самуэле? Правда, в собор он не вошел. Я позвал его на праздник не только потому, что кардинал берет у него деньги под проценты. Сегодня я хотел дать понять, что в будущем мы хотим жить с евреями в мире, пока они придерживаются предписанных советом правил. Хоть и сами они, и их вера остаются для нас чуждыми, мы не должны опускаться до клеветы и преследований».

Некоторое время они сидели молча в наступающей вечерней прохладе. Маркантонио чувствовал, что доктора мучает что-то еще.

«Дорогой Маркантонио, – нерешительно начал доктор, – мне нечего терять и я обращаюсь к Вашему великодушию. Я скажу Вам то, чего бы никогда не сказал кардиналу. Тогда, в этот неповторимый час избавления от чумы – я помню все до мельчайших подробностей – я ворвался во Дворец Дожей с криком: «Все позади, слава Марии!» Сегодня я спрашиваю себя – надеюсь, Вы меня понимаете, – почему я не сказал тогда «Слава Богу»?

Да, мы почитаем святых и Марию, Рабу Господню, и это почитание может быть большой добродетелью, ибо его предмет – достойный. Но верим ли мы, что святые

действительно направляют наши дела и поступки из недоступной нам вечности, где они пребывают, из потустороннего мира? Я естествоиспытатель и врач. Я привык восхищаться нашей способностью постигать законы природы, управляющие преходящими вещами, и я не в силах верить, что женщина, родившая Иисуса и по воле Создателя бесконечно страдавшая за его судьбу, какой бы святой она ни была, могла, словно по волшебству, остановить чуму. Разве чудо, которое было явлено нам, перестанет быть чудом, если, преклоняясь перед Тайной великой милости и вновь подаренной нам жизни, мы не дадим этой Тайне ни имени, ни образа? Если мы признаем непостижимость Вечного, основы всего сущего, в котором мы «живем и движемся, и пребываем», как говорит Апостол в той речи о «неизвестном Боге», которую он держал перед афинянами, взыскующими истины? Неужели этого не достаточно? Не возымеет ли наша благодарность гораздо больший вес, если она не будет связана с каким-либо святым именем, если, признав, что мы полные невежды в познании источника чуда, которого удостоились, мы свяжем это чудо с верой в Дающего всю жизнь, в Создателя всех вещей?»

«Ты хочешь сказать, что мы дали нашей церкви неправильное имя? Было бы лучше ее окрестить "Dio della Salute", «Бог Спасающий» или "Chiesa del ringraziamento", «церковь Благодарения»?

Роберто был сломлен усталостью. Еще никогда он не чувствовал такой беспомощности от неумения выразить словами свои внутренние сомнения. Он уже сожалел, что так увлекся, хотя он мог быть уверен, что дож никому не перескажет его слова, и что в городе у него много тайных единомышленников.

Доктора знобило, и он ответил не сразу: «Маркантонио, я далек от мысли умалять значение этого прекрасного творения, церкви Салюте. И я очень хорошо знаю, что для жителей нашего города, особенно для простого люда, образ Мадонны — самое сердце благочестия. Было бы слишком большой дерзостью пытаться оспорить их веру или отнять у них главную духовную опору.

Я только хотел поделиться своими не очень популярными мыслями, и чувствую, что Вам больше по душе, когда говорят начистоту, чем когда шепчутся по углам и скрывают свои помыслы. Простите мне мою дерзость.

Возможно, не так уж важно, как называется церковь. Важно только, что память и благодарность не угасают, и я рад торжественному обету, прозвучавшему сегодня утром».

После долгого молчания дож поднялся и сказал на прощание: «Dottore, я восхищаюсь Вами, потому что знаю, чем обязан Вам город. Ваша искренность и доверие ко мне делают мне честь. Я подумаю о Ваших словах, но подумайте и Вы, что я не хозяин над сердцами наших венецианцев, когда они вверяют себя покровительству Мадонны, взыскуя помощи и исцеления, и доверяют ее небесным силам невозможное. Прощайте, всего наилучшего, Роберто, и не забудьте меня в Ваших молитвах. Грядущие поколения простят нам, что церковь Салюте носит имя Марии».

Погруженный в мысли, Маркантонио направился к своей гондоле, а доктор устало поплелся через опустевшую площадь к своему дому, где у окна его с беспокойством ждала внучка Луяна.

_

[‡] Имеется в виду речь Апостола Павла перед афинянами, описанная в Деяниях Апостолов, гл.11.

Ш

Стояло позднее лето, теплое, с редкими дождями и ясным небом над лагуной, по которой неустанно веял легкий освежающий бриз. Теофил Бетчер стоял перед лестницей Марии делла Салюте, глядя наверх, на портал с мощными колоннами. Наконец он здесь.

Свершилось то, о чем он мечтал четыре долгих года в Воркуте, в печально известном лагере на севере России. Слово «Воркута» означало глубочайшее унижение, которое только может выпасть на долю военнопленного в наказание за ужас коричневой чумы, унесшей жизни миллионов людей.

Поздней весной 1944 года он был ранен в северной Италии и попал в лазарет в Падуе. Тогда он воспользовался возможностью и на один день съездил в Венецию. После выздоровления он был послан на восточный фронт и оказался в русском плену. Венеция! Очарование этого города с тех пор не покидало его. В воркутинском лагере он подружился со старшим лейтенантом Пфэфлиным из Вюртемберга, бывшим до войны искусствоведом. В свободные от работы воскресенья, а иногда и в будние дни по вечерам, чтобы прийти в себя от отупляющей черной работы, Пфэфлин, сидя на нарах, мог часами рассказывать о Возрождении и барокко, читал лекции по своему предмету, щедро делясь знаниями, вспоминая свои выездные семестры в Венеции. Углубляясь в исторические события города на лагуне, он подробно останавливался на временах эпидемии чумы, рассказывал о венецианских дожах Николо и Маркантонио, их духовном мире, их характере, об истории создания собора Санта-Мария-делла-Салюте. С восторгом описывая разнообразную архитектуру Венеции, он отдавал первенство собору Салюте и в мельчайших подробностях вспоминал, как однажды принял участие в народном гулянии на празднике в честь этого собора.

Прекрасный рассказчик с обширными познаниями, он в то же время был для Теофила верным товарищем по несчастью. Его смерть от воспаления легких прошедшей зимой отозвалась в душе друга глубокой болью. Тем сильнее среди вечного холода Воркуты становилась его тоска по солнечному жаркому югу, где, казалось, не может быть слишком жарко, тем больше манила его мечта об Италии, этой стране, так любимой Гете, и о Венеции – об этом восхитительном, насыщенном культурой городе на сваях в водах лагуны.

Можно ли жить одной мечтой? И все-таки эта мечта изо дня в день помогала ему остаться в живых на сталинском «архипелаге», где царствовали голод, всевозможные лишения и ежедневный, тягостный и подневольный труд.

В начале мая 1949 года Теофил снова увидел собор Салюте. Позади были освобождение и возвращение на родину после четырехлетней борьбы за выживание. Молодой студент-богослов ходил на лекции и семинары по Ветхому Завету, и мечтал в первые же каникулы вырваться в Венецию. В память об умершем друге он хотел там, на месте, оживить все, что осталось в памяти от его рассказов.

Теперь наступил, наконец, этот момент – момент воплощения мечты. Теофил, раненый и исцелившийся, попавший в плен и вновь спасенный, перед ступенями Салюте! Он приехал в Венецию, имея при себе только керосинку Zündapp 250 и маленькую палатку, и вот перед ним, потрясенным, грандиозное здание, которое ему столько раз в деталях описывал Пфэфлин.

Пару часов назад, проходя по извилистым улочкам старого города от места, где он разбил свою палатку, Теофил оказался на площади гетто Нуово. Странным образом Пфэфлин в своих рассказах обошел вниманием это некогда оживленное место, где жили венецианские евреи. Теофил не думал, что попадет сюда. Растерянный и странно

взволнованный, стоял он перед мемориальной доской с бронзовым барельефом на стене бывшей испанской синагоги – "Scuola Spagnola":

«В августе и сентябре 1944 года гетто Нуово было разграблено немецкими и итальянскими фашистами. 241 еврейский житель был депортирован национал-социалистами в лагеря смерти и там убит».

Этого он не ожидал. Как могло случиться, что и здесь, в этом старинном и гордом городе, проникнутом европейским образом мысли и духом прекрасного, за семь месяцев до окончания войны орудовали жуткие отряды головорезов, уничтожая народ «Ветхого завета», о котором в Торе написано, что он будет существовать всегда? О Торе и древней еврейской истории Теофил впервые услышал совсем недавно, во время вводного курса по богословию в Тюбингене. Раньше, во времена Третьего рейха, учителя гимназии, особенно после Хрустальной ночи, не поднимали эти опасные темы.

Почему Пфэфлин ничего не сказал об этих событиях? Было ли ему самому о них известно? Или, может быть, этот ужас, благодаря успешной пропаганде тех, кто его устроил, показался искусствоведу недостаточно ужасным, чтобы попасть вместе с ним за колючую проволоку в Воркуту?

Тогда в лагерях они не видели главного: растущая волна ненависти к евреям во времена Веймарской республики, антисемитское безумие «Майн Кампф» Гитлера, его бредовые планы и, наконец, воплощение этих планов в двенадцати годах «тысячелетнего рейха» — вот, что привело их всех на крайний север.

Теофил осознавал, медленно, но неуклонно: Воркута и многие другие лагеря и меры наказания со стороны победителей — все они были неизбежным последствием, заключительным актом катастрофы. Плен и лагеря оказались могилой для целого космоса бесчеловечности, которую утопили в другой бесчеловечности. Немецкие военнопленные из жертв неожиданно превратились для Теофила в преступников. Тот, кто участвовал в совершавшейся несправедливости, лишается права на оправдание.

IV

Его размышления о прошлом прервались, когда речной трамвайчик-вапоретто, переправлявший его через канал Гранде, пристал к площади Салюте.

Итак, он стоял перед широкой лестницей, чьи четыре марша вели к восьмиграннику собора, и его переполняло чувство восторга от этого бурного, но строго соразмерного великолепия. Пфэфлин не преувеличивал.

Когда он задумчиво поднимался по шестнадцати мраморным ступеням, ему вспомнились те тридцать шесть ступеней, по которым он спускался в Воркуте бесчисленное количество раз от входа подъемной шахты до ее дна, чтобы потом снова тащиться наверх.

Он провел в Салюте много времени, снова и снова сравнивая то, что он видел, с описаниями Пфэфлина. В одной из боковых капелл он зажег свечу в память о друге и от всего сердца прочел «Отче наш»: «...Да будет воля Твоя... Хлеб наш насущный... и прости нам долги наши, как и мы прощаем... и не введи нас во искушение...» Какие немеркнущие, не теряющие силы, вечные молитвенные слова, сказанные сыном плотника и Марии в человеческом мире, где-то между Воркутой и Венецией.

Оказавшись опять снаружи на залитой ослепительным солнцем площадке между порталом и лестницей, он все еще был переполнен впечатлениями от интерьера собора, от колоссального пространства под открытым, прорезанным в небо сводом купола и от какой-то мистической полноты этого пространства, от словно светящихся картин на

библейские сюжеты в семи боковых капеллах и ризнице, от исполненных жизни статуй. Время остановилось от потока захвативших его впечатлений.

Порывисто дыша от волнения, защищая глаза от солнца ладонью, Теофил смотрел через канал Гранде на собор Святого Марка. Его мысли и чувства волновались, словно соперничая друг с другом в силе и глубине. Внезапно его пронзил вопрос: а где сегодня стоит церковь благодарения за окончание фашистской чумы с ее человеческими гекатомбами, с миллионами совращенных душ и изуродованных сознаний; за окончание эпидемии, которую по свету разносил он сам — солдат-пехотинец в коричнево-черной форме, имевший в своем распоряжении все изобретенные людьми средства уничтожения других людей?

Мысль Теофила напряженно развивалась дальше: сколько же церквей благодарения могли бы украсить города по всему миру, если бы наступил конец всем конфликтам на основе национального и расового высокомерия, злоупотребления властью со стороны власть придержащих, притеснений и гонений из за политических и религиозных предрассудков, фанатизма фундаменталистов, из за забвения христианской Церковью Израиля, из за предубеждений по половому признаку и пренебрежительного отношения к иностранцам и беженцам, из за нежелания принимать уроки истории?

Сколько нетесаных камней нам еще не хватает для строительства сегодняшней церкви Салюте – церкви Благодарения?

Как долго еще новые эпидемии будут выползать из недр земли, несмотря на все, что уже случилось с нами?

Вадим – сын партизана

\mathbf{V}

Здесь пойдет речь о невероятном стечении обстоятельств, в отношении которых верна пословица: «Бог пишет прямо по кривым линиям». Но, следуя иудейскому завету, не будем поминать имя Всевышнего всуе. Всем известно, что история имеет связь с сегодняшним днем. Она настолько же близка и осязаема для нас, как камни Санта-Мария-делла-Салюте, и так же недалека от неба, как цепи горных вершин, возвышающиеся над вечерним туманом в лучах заходящего солнца.

Внук Теофила Бетчера только пожимает плечами, когда слышит слова «партизан», «гетто», «Тора», «синагога», «шаббат» или «раввин». Для него все это – древняя история. Однако Тора, о которой здесь пойдет речь, используется и сегодня. После переписки и проверки специальным переписчиком — софером, став опять кошерной, она читается в столице Карелии каждый шаббат по ритуалу, сложившемуся в ходе столетий. Древние тексты оживают в седьмой день каждой недели, и каждая их строка звучит как эхо молитвы «Шма Исраэль» и двойной заповеди: «и поэтому будешь ты любить Господа твоего, Бога твоего... и твоих ближних, как самого себя» (Второзаконие 6:5; Левит 19:18; 34).§

Что еще надо сделать, чтобы на этой земле вместо борьбы за выживание, наконец, началась счастливая жизнь? Что еще нужно для того, чтобы навсегда распрощаться с диктатом различных догм и идеологий, диктатом капитала, диктатом принципа производства и потребления, который постепенно захватывает сферу человеческих отношений?

Необходимо раздуть тлеющий уголь молитвы «Шма Исраэль», чтобы спасительное пламя очищения охватило наш терновый куст, не сжигая и не отпуская его, пока он не выпустит бутон новой розы.

Описанные события происходили во время войны на Украине, в маленькой деревне Янковка. Действующий в этом районе партизанский отряд состоял из мужчин, по разным причинам оказавшихся не годными для фронта или оставшихся в деревне после ранений, и помогавших им мужественных женщин. Они скрывались в болотистых лесах и горных ущельях, куда боялись сунуться солдаты неприятеля и действовали небольшими группами, рассчитывая только на свои силы. Для немецких солдат они были бандитами и террористами, но чаще их называли словом «партизаны», которое после войны будет окружено почетом и славой. Бороться с партизанами крайне трудно: для них не существует неприемлемых средств сопротивления, они не носят униформу и нападают из засады. Оружие и боеприпасы для своей борьбы партизаны получали от красноармейцев, тайными тропами выходя для этого к линии фронта. Чтобы пополнить запасы сала, сухарей и водки они обычно совершали вылазки в занятые неприятелем деревни — на грибах и ягодах люди долго прожить не могли.

-

[§] Пятая книга Моисеева. Второзаконие, 6:5: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Третья книга Моисеева. Левит, 19:18: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь»; 19:34: «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я господь, Бог ваш» (текст Синодального издания).

История партизанской Торы начинается с командира небольшого партизанского отряда из пятнадцати человек, на которого донесли «свои», односельчане. Николай был высоким пятидесятилетним мужчиной, с выразительным лицом, тонкими губами, сильным подбородком и глубоким шрамом на правой щеке. Когда однажды в его отряде кончились продукты, поздним вечером он один отправился в свою деревню. Одноэтажные деревянные дома стояли вдоль единственной улицы, и только центральная площадь перед маленькой церковью была окружена двухэтажными домам. Это были его родные края, здесь прошли его детство, юность, его крестьянская жизнь. Это была его родина, придававшая смысл его существованию, родина, из за которой он и рисковал жизнью.

Николай не был в деревне пять недель. Он тосковал по своей жене, своей верной Светлане, по своему единственному сыну Вадиму, гордости родителей. Он хотел пообщаться с женой и сыном, дать Вадиму новые поручения и к восходу солнца опять уйти в леса.

Дорогу он мог найти с закрытыми глазами. Сначала он шел под сенью леса, нагибаясь от веток, потом по березовой роще до бескрайних колхозных полей подсолнечника. Ему оставалось преодолеть тянущиеся до деревни ровно вытоптанные в это время года пастбища.

Был конец лета. С душистых полей в палисадники между домами задувал дурманящий, ласковый южный ветер. В одной из беседок на скамье млела странная любовная пара: Надежда, молодая женщина, чей полугодовалый ребенок мог бы носить немецкое имя, и Вальтер Шмидлен, немецкий фельдфебель из расквартированных в деревне частей связи. Он мог бы влюбиться в украинку и в другое время, скажем, после поражения под Сталинградом, во время окопной войны между Донцом и Доном. Такие любовные истории, иногда отмеченные и подлинным чувством, с одной стороны возникали от тоски и жажды ласки, с другой — из стремления женщин смягчить нужду и утолить голод. «Хлеб греха», который получала Надежда каждый раз в награду за свидание —консервированная колбаса или банка консервированных сардин в масле — был деликатесом, о котором в оккупации мало кто мог мечтать.

Между поцелуями Надежда случайно взглянула на залитый лунным светом дальний луг. Она заметила приближающегося к деревне Николая Петровича — партизана, которого она так не любила за то, что тот пытался уговорить ее отца, хромого, с больной спиной, уйти с ним в леса и присоединиться к отряду.

Как раз в этот момент Надежда находилась в сложном положении: ее маленький ребенок был тяжело болен, уже несколько дней держалась высокая температура, и она боялась за его жизнь. Для какой матери в подобный момент спасение ребенка не станет важнее, чем родина и все подвиги героев сопротивления? Она знала, что немцами в деревне организован полевой лазарет, но сельчан к нему и близко не подпускали. Оставался единственный шанс: может быть Вальтер Шмидлен, ее фельдфебель, попросит одного из врачей помочь ее малышу. Эти мысли толкнули Надежду на отчаянный поступок. Она поставила все на карту. Ее школьных познаний в немецком оказалось достаточно для заключения страшной сделки:

«Вальтер, - начала она, когда тот страстно ее обнял, - что ты сделать, если находить партизан или командир партизан? Ты их сделать мертвым?»

При слове «партизан» у фельдфебеля в голове словно сработал сигнал тревоги. Шмидлен выпрямился и заговорил другим голосом: «Почему ты об этом спрашиваешь? Ты знаешь кого-нибудь в деревне?»

«Возможно. Но сначала ты говорить, что делать».

«Сначала мы его, конечно, допросим, – чуть подумав, осторожно предположил Шмидлен, – но мы не убийцы. Если он ничего не совершал, мы его отпустим. А в чем дело? Если ты кого-нибудь знаешь, ты должна мне сказать».

Так неожиданно их отношения приобрели непредвиденный оборот: с одной стороны, Надежда боялась, вдруг Вальтер решит, что она злоупотребила его доверием, и прогонит ее, с другой стороны, сам Вальтер опасался, как бы его любовному приключению не настал конец, если он прямо скажет Надежде, какая участь ожидает пойманных партизан. Захочет ли женщина иметь дело с солдатом-оккупантом, не раздумывая расстрелявшим ее соседа?

Надежда сама плохо понимала, во что ввязывалась. Она хотела верить своему любовнику и пыталась прогнать сомнения. Прежде всего, она думала о своем ребенке, о тяжело больном малыше, которого сегодня вечером оставила на попечение бабушки.

«Сегодня ночь он здесь. Ты попросить врача помогать моему малышу, если я говорить, где он живет? Маленький много болен, очень болен!»

Конечно, Вальтер Шмидлен не мог упустить свой шанс схватить партизана, возможно, командира отряда. Это сулило почет и повышение по службе. К тому же можно повернуть дело и так, чтобы его участие осталось неизвестным. Мало ли кто мог обнаружить пробравшегося в деревню подозрительного мужика.

Так закрутилось безжалостное колесо беды, которой Надежда не желала. «Завтра утром к тебе придет врач, — ответил ей Вальтер спокойно и ласково. - Скажи, где живет тот, про которого ты знаешь, и ты об этом не пожалеешь. Возможно, я смогу устроить тебя работать на кухню, там будут о тебе заботиться и ты будешь всегда сыта».

Нельзя забывать, что в зоне немецкой оккупации было немало людей, для которых режим немцев был лучше, чем режим Сталина. Такие люди часто сотрудничали с нацистами, и позже, при отступлении войск, уходили на запад в надежде найти там лучшую, свободную жизнь. Возможно, где-нибудь в Руре, в лагере для принудительных работ, оказалась к концу войны и Надежда со своим ребенком.

Николай Петрович, как было условлено, постучал четыре раза в дверь своего дома — одна короткая, две длинные паузы. Внутри кто-то тихо вскрикнул от радости. Поздний посетитель обошел дом сзади, чтобы войти через дверь, ведущую в сад. Через мгновение он уже крепко обнимал свою Светлану.

Навстречу им из избы вышел Вадим. Это был крепкий коренастый парень, выглядевший старше своих шестнадцати лет. Его темные глаза светились гордостью за отца-командира. Пока Светлана ставила на стол водку, необходимую в безрадостное время войны, собирала остатки ужина, раздувала самовар, Николай рассказывал Вадиму о сложностях жизни лесах и на болотах, не уточняя при этом, где находится отряд. После этого он расспрашивал о положении в деревне. О многом надо было рассказать, многое надо было обсудить.

Тем временем Светлана занялась сбором съестных припасов. Она взяла вещевой мешок Николая с печной лавки и направилась в сарай, куда сочувствующие партизанам сельчане приносили провизию. Задача Светланы состояла в том, чтобы надежно прятать все это в подпол, забросав пол сеном.

Сын и отец заговорили о том, где можно достать радиопередатчик и аккумулятор. Вадим как раз собирался рассказать отцу, что у одного приятеля из соседней деревни такой имеется, как вдруг снаружи раздался топот, за которым последовал резкий стук в дверь:

«Откройте! Полиция! Откройте!»

Заднюю дверь, ведущую в сад, уже вышибали прикладами. Где-то зазвенело разбитое стекло — значит, дом окружен и бежать некуда. Николай схватился за пистолет, но тут же был убит автоматной очередью из окна. Вадим пытался спрятаться за печной выступ, но ворвавшиеся люди сразу нашли его, схватили и вытолкали из избы.

На улице перед домом на него заорал немецкий унтер-офицер:

«Другие люди в доме есть?»

Ошарашенный Вадим уставился на болтающуюся на груди унтер-офицера съехавшую набок стальную бляху с надписью «Полевая жандармерия». Его ударили под ребра: «Есть еще кто-нибудь в доме?»

«Нет! Нет! Никого больше нет!» — заикаясь, пробормотал он в паническом страхе за мать.

Услышав шум, Светлана спрыгнула в подпол и, пытаясь расположиться между свеклой, картошкой, копченым салом и фруктами, постаралась неслышно задвинуть над головой поднятые половицы.

Солдаты с карманными фонариками обыскивали сарай, тяжело ступая сапогами по разбросанной на полу соломе. Один наткнулся на пустой вещевой мешок, хотел было взять его с собой, но потом бросил на пол. Он мог бы и подумать, зачем пустой вещевой мешок нужен в пустом сарае.

Едва дыша, Светлана затаилась в яме. Сердце разрывалось от страха, когда она услышала выстрелы. Что с Николаем? Неужели и ребенка заберут? Она дрожала всем телом, когда тяжелые сапоги грохотали над головой. После того, как все стихло, она выбралась из убежища и бросилась в дом. В горнице она наткнулась на безжизненное тело мужа. Что она могла сделать? Сотрясаясь от рыданий, Светлана вытерла с любимого лица струящуюся из раны на лбу кровь, опустилась рядом с мертвым, положила голову ему на грудь, не понимая больше, что происходит вокруг, день сейчас или ночь и что будет дальше. Она шептала только: «Почему? Почему?». Этот вопрос остался без ответа, но вызвал новый: «Где Вадим? Они его забрали — куда? Жив ли он?»

Только к вечеру следующего дня Светлана задумалась о том, кто мог их выдать, кто показал дорогу полицаям и немцам.

Как часто бывает в военное время, и на этот вопрос ответа не последовало. Светлана умерла за два дня до освобождения деревни советскими войсками. Она умерла от малярии, заразившись от укрывавших ее друзей, которые сами заболели на болотистых партизанских тропах.

VI

Автомобиль с грохотом катился в ночи. Капитан приказал немедленно доставить задержанного в комендатуру. Вадима втолкнули в грузовик и повезли в Запорожье. Им должен был заняться Первый специальный отдел по сбору информации и борьбе с партизанами. Два усталых жандарма, между которыми сидел Вадим и к которым он был прикован наручниками, тупо и зло смотрели на дорогу перед собой и за весь путь не проронили ни слова. Все равно они не знали ни слова по-русски, а Вадим – понемецки.

Абсурдность войны состоит в том, что один народ, даже не понимая языка противника, нападает на другой – а может быть, оттого что не понимает, ненавидит его еще больше.

В подвале красного кирпичного здания бывшей школы размещались камеры для заключенных. Наверху, в классных комнатах, где за партами проводились допросы, работали офицеры и помогавшие им переводчики. На Украине было немало таких переводчиков, извлекавших большую выгоду из своих познаний в немецком – даже если эти познания были ничтожны.

Вызванный на допрос из подвальной камеры Вадим озирался вокруг, как затравленный зверь. В это время безукоризненно одетый украинец средних лет принес ему, измученному бессонной ночью, поднос с завтраком. Вадим не поверил своим глазам, когда увидел свежий, ароматный, хлеб, только что из полевой пекарни, с маслом и джемом, и натуральный кофе в эмалированном кофейнике с вмятинами.

Переводчик заговорил с ним дружеским тоном: «Вас зовут Вадим Николаевич, называйте меня Александр». Он обратился к Вадиму на «Вы», видимо оценив его старше, на восемнадцать лет. Кроме того, он понимал, что Вадиму льстило такое обращение.

«Сначала подкрепитесь, у Вас была такая утомительная поездка. Как Вы себя чувствуете?»

Вадим, к которому впервые в жизни обратились на «Вы», как раз в этот момент обдумывал, не начать ли голодовку. В продолжении всей ночной поездки он думал только о том, как отомстить за смерть отца, и тут его фантазия не знала границ. Но что может принести голодовка? Вероятно, его будут избивать и пытать, а он должен быть сильным. Он вспомнил совет отца, вынесенный им из партизанской борьбы: «Не надо дергать льва за хвост, когда сидишь с ним в одной яме».

Наконец он взялся за еду, намазал масло и джем на хлеб, переводчик налил ему кофе. Вадим молча жевал, отхлебывая из чашки горячий напиток.

Через несколько минут переводчик опять обратился к нему: «Я могу понять, что Вы очень расстроены внезапной смертью отца. Жандармы не хотели такого исхода, но мне сообщили, что он схватился за пистолет. Они его очень боялись, ведь он был опытный боец».

«Вы так считаете?» – спросил Вадим с вызовом.

«Я так думаю. Разве он не был руководителем партизан из деревни?»

Как раз в тот момент, когда переводчик ожидал реакции на слово «партизан», из соседней комнаты вышел офицер-следователь, сел рядом с переводчиком и приветливо посмотрел на допрашиваемого. Это был высокий стройный блондин, с серо-голубыми глазами и тонкими чертами лица, лет тридцати. Вадиму сразу бросились в глаза знаки СС на петлицах мундира.

Дружественный взгляд офицера не произвел на Вадима желаемого впечатления. Он уже знал, что от таких типов, как этот капитан, «цепных псов», как их называли в народе, надо ожидать не любезностей, а крика, приказов и пыток. Инстинкт подсказывал смышленому парню, что показная доброжелательность к нему является только способом достижения определенной цели. Чего они от него хотят? Конечно, чтобы он помог им выяснить, где находится лагерь партизан, как они организованы, кто их поддерживает, снабжает продуктами и оружием, как они пополняют свои ряды и что они планируют. Немцы нуждались в информации о деятельности этой опасной

подпольной организации — точно так же, как современные захватчики, воюющие в Ираке и Афганистане, нуждаются в информации о сетях «террористов» и «повстанцев».

Капитан войск СС был опытный следователь. Первый вопрос, который он задал тихо и как бы, между прочим, был: «Вы еврей?»

«Нет, но я ничего против них не имею», – дерзко ответил Вадим.

«Слава Богу, – воскликнул офицер с улыбкой и сделал вид, что вторую половину фразы не услышал. – Иначе я был бы вынужден отправить Вас в другую комнату, – и, после небольшого промедления, продолжил громче, – где Вы бы узнали понастоящему, что такое специальный отдел».

Со словами «Специальный отдел» у переводчика почему-то возникли затруднения, и для Вадима это прозвучало так: «Вы оказались бы, что называется, в особом положении».

«Знаете что, Вадим Николаевич, Вы мне нравитесь своей откровенностью и самобытностью. Вы мне симпатичны. Нам нужны такие люди из народа, которые умеют трудиться, связаны корнями с землей, со своей родиной, уважают традиции предков».

Переводчик не понял, что подразумевалось под словом «самобытность». Однако продолжение, к которому перешел капитан, было ясно и однозначно:

«Вадим Николаевич, мы, немцы, в настоящий момент находимся в состоянии тяжелой борьбы. Как Вы несомненно знаете, на нас напала сталинская армия. Но большевизм является и вашим врагом. Он загоняет вас, крестьян, в колхозы и совхозы, лишает вас свободы. Инакомыслящие, говорящие об этом открыто, попадают в лагеря и так далее. Мы же хотим освободить вас от этого, и Вы можете нам в этом помочь.

Ваши партизаны – смелые люди, но вы встали не на ту сторону. Переходите к нам. Скажите, где мы можем найти бойцов из вашей деревни? Возможно, мы сумеем с ними договориться?».

Вадим растерялся. Еще никто за все шестнадцать лет его жизни в родном доме не объяснял ему события таким образом. Для него было ясно, кто развязал войну, кто был агрессором. Жизнь в колхозной деревне шла своим чередом, а Сталин был далеко. Все работали сообща, и хотя все были бедны, пока не началась война, никто не голодал. Уже двадцать лет в деревне работала школа для всех. А его бабушка и дедушка были крепостными, они выросли, не умея ни читать, ни писать, жили без электричества. В деревне была одна медсестра, она же акушерка. Два раза в неделю из города на упряжке лошадей приезжал врач. С началом войны все изменилось: акушерка вынуждена была бежать, поскольку была еврейкой. Врач из города больше не приезжал, потому что не было лошадей. Вошедшие в деревню немцы забрали весь колхозный скот и зарезали его для себя. Они увели у соседей из хлева единственного теленка, не обращая внимания на слезы и мольбы хозяев. Вадим помнил, что их собственного теленка отец, к счастью, успел зарезать до прихода немцев, но когда они забрали уток, кур и двух овец, отец ушел в партизаны.

Вадим хотел было выразить свое несогласие, хотя бы жестом, но, вспомнив пословицу про льва, только сжал руки между колен. Как мог этот образованный иностранец так поставить все с ног на голову? Может быть, он и вправду думает, что Советский Союз был агрессором?

«Сколько Вам лет, Вадим Николаевич?» – продолжал капитан. «Шестнадцать, господин офицер».

«Черт возьми, я думал Вы старше. Но мы останемся на Вы. Паспорта у Вас еще нет. Итак, я должен поверить Вам на слово. Я верю Вам». Этим он хотел показать, что разговор происходит на равных, так сказать, как у мужчины с мужчиной.

Желая сохранить милостивое расположение немца, Вадим заметил: «В ноябре мне исполнится семнадцать, может быть, тогда я смогу получить паспорт».

Когда офицер заговорил дальше, голос его звучал почти задушевно: «Вы такой молодой, у Вас вся жизнь впереди, почему бы Вам не использовать свой шанс? Что Вы думаете по поводу моего предложения?»

Теперь Вадим обдумывал каждое слово. «Господин, – начал он осторожно, – Вы храбрый офицер и человек чести, и Вы не можете любить предателей. Вы бы предали Ваш народ? Я не знаю, кто виноват в войне, но Ваши солдаты находятся на моей земле, и поэтому у нас много горя. Я не могу предать мою родину. А партизаны? Мой отец был партизан, но он мне ни разу не рассказывал, где находится отряд и как они работают. Он был умный, боялся, что я могу разболтать это моим друзьям, а потом придут немецкие солдаты и будут бить нас, пока мы не расскажем. Я не знаю, где находятся партизаны, и какие у них планы. Вы должны мне поверить!»

Капитан долго и задумчиво вглядывался в красивое загорелое лицо деревенского подростка. К счастью, Вадим вызывал у него безотчетную симпатию. Он размышлял так: «Или этот парень очень хитер, прекрасный артист и отлично обо всем осведомлен, возможно, даже был курьером у партизан, или он порядочный человек и говорит правду. Но на его глазах застрелили отца, и он не забудет этого никогда. Я бы тоже не забыл».

Он встал и удалился в соседнее помещение, чтобы обсудить случай с начальником отдела. Через двадцать минут, которые показались Вадиму вечностью, он вошел с серьезным выражением лица и обратился к допрашиваемому:

«Я хочу Вам верить, Вадим Николаевич, но мы не имеем доказательств. Наша борьба с партизанами слишком важна, чтобы мы могли пойти на риск. Они приносят много несчастья у нас в тылу. Помните об этом. Завтра идет транспорт в Дрезден. Там находится наш штаб гестапо. Вас там допросят и все перепроверят. Тогда будет решено, что с Вами делать дальше».

Он пожал Вадиму руку и сказал: «Всего хорошего. Может быть, Вам повезет. Кто знает, вдруг после победы мы встретимся. Я живу недалеко от Дрездена». Он похлопал его по плечу: «Вадим, всего Вам доброго – это я серьезно».

Он действительно желал Вадиму добра. Капитан был младшим из трех братьев с маленького хутора. Еще молодым он прочел «Майн Кампф» Гитлера и мечтал со временем завести большое хозяйство на плодородной земле где-нибудь между Бугом и Доном. Такого человека, как Вадим, он мог бы взять себе старшим работником.

VII

В произошедшее с Вадимом Николаевичем можно поверить, только если на собственном опыте знаешь, в какой хаос повергает людей любая война.

Действительно, в следующий же понедельник Вадим был отправлен в Германию с ближайшим поездом. Первые вагоны состава везли раненых солдат, в тех, что следовали за ними, перевозилось награбленное: уголь, медная руда, тонны семян подсолнечника — все для обескровленной немецкой экономики. Без остановок этот состав шел, грохоча, из житницы Европы в Саксонию. Его ни разу не бомбили, и поезд

благополучно прибыл на вокзал в Дрездене. Сопровождавший Вадима военный направлялся с фронта в отпуск. Он доставил Вадима в штаб гестапо, где его приняли совсем не так, как в Запорожье. Здешние переводчики были немцы. Слово «партизан» вызывало в гестапо мгновенную реакцию: разоблачить, пытать этого бандита, этого советского недочеловека-террориста, этого бродягу-коммуниста! Возможно, у нас в Дрездене украинский партизанский курьер! Он заслуживает только одного: вниз его, во второй подвальный этаж, в самую надежную камеру!

Так Вадим оказался в бетонной клетке без окон, длиной два с половиной метра, шириной метр восемьдесят, с парашей в углу, над которой капал кран. В двери — маленькое окошко с крышкой-клапаном, на потолке рядом с вентиляционным отверстием мутная лампочка. Осмотревшись, узник скорчился на тонкой подстилке, прижав к себе мешочек с сухарями, который успел сунуть ему в руки еще переводчик в Запорожье. Вадима охватила дремота и он потерял счет времени. Так прошло два дня, никто о нем не вспоминал. На третий день дверь распахнулась, и он, ослепленный ярким светом, был препровожден наверх солдатами в черной униформе. Тогда он с тоской вспомнил об украинском капитане СС.

Восемь дней гестаповцы пытались узнать от него, какую структуру имело партизанское движение на Украине, кем оно руководилось, как финансировалось, какие функции выполнял его отец, не был ли Вадим курьером у партизан и так далее. На каждом допросе присутствовали офицеры вермахта. О пытках, которым подвергался Вадим в течение этих восьми дней, мы умолчим. В распоряжении нацистов был целый арсенал инструментов истязания.

VIII

После недельной живодерни гестаповцам стало ясно, что ничего нового добиться от этого крестьянского парня не удастся. Поэтому сначала они послали его в концентрационный лагерь Нордхаузен-Дора в шахты, а потом, когда ему исполнилось семнадцать лет, перевели в Заксенхаузен, около Ораниенбурга. Там были не только известные мастерские, где еврейские пленники делали фальшивые банкноты долларов и фунтов стерлингов, но и специальная машина для расстрела в затылок, которой были убиты восемнадцать тысяч русских военнопленных. Вадим не относился к их категории. Он получил нашивку «политического», хотя сын партизана не совсем подходил на такую роль. Поскольку он был коренастый и крепкий, его зачислили в «вальц-команду». Четверо мужчин должны были тащить каменный вал, весивший не меньше тонны, разравнивая щебенку на дорогах, ведущих к лагерю и на территории лагеря. Это было нечеловеческое издевательство. На такие муки обрекали своих жертв больные коричневой чумой: людей нужно было не только уничтожать при помощи расстрельных машин, но и медленно убивать адской работой, выдавливая из них последнее, что они имели – рабочую силу. Не существует достаточно грязного слова, чтобы передать всю мерзость такой системы, но мы ведь знаем, что и не все в мире можно выразить словами.

И сегодня туристы из Германии, США, с Дальнего Востока, посещающие концентрационный лагерь, поражаются странному устройству, похожему на каток. Они могут сами попробовать сдвинуть его с места, пытаясь не запачкать свою фирменную куртку «Вольфскин». Пусть лучше попробуют представить себе четырех страдальцев, как они, двое справа, двое слева, упирались впалой грудью и руками, перевязанными тряпьем, в железную перекладину, как они под окрик надсмотрщика или унтер-

офицера Пригеля: «Вперед маарш! Левой!...», всем телом сжимаясь от предчувствия, что сейчас он опять ударит кнутом, приводили в движение каменный вал.

Вечером, когда Вадим спрыгнул из кузова грузовика на гравий перед воротами лагеря, первое, что он увидел, была кованая надпись: «Труд делает свободным». Тогда он не мог понять, зачем она нужна. Он был молод и не имел представления об извращенном, циничном искусстве убивать ядом слов, не имеющих ничего общего с реальностью. При фашистском режиме язык отравлялся каждый день, как бы между делом. Никто не обращал внимания на подмену понятий – и, возможно, именно поэтому новояз распространился так широко. Вполне образованный человек, министр пропаганды Геббельс в трезвом уме и здравом рассудке орал на сотрясающемся от одобрения берлинском стадионе: «Мы идем на эту битву, как на богослужение!» И одновременно в концлагерях рабский труд, единственное назначение которого – убить пленника, провозглашался дорогой к свободе. Вряд ли есть болезнь страшнее, чем чума языка.

Вадим Николаевич вошел в лагерь Заксенхаузен под конвоем двух надсмотрщиков. Унтер-офицер Отто Пригель как раз впустил в ворота последнюю группу рабочих и шел на вахту, чтобы сделать запись в контрольном журнале. Он встретился глазами с новеньким, который вдруг отчего-то произвел на него особенное впечатление.

Двадцатитрехлетний Пригель был одним из самых молодых в иерархии эсэсовцев. Он еще не успел отупеть от лагерной рутины, протекавшей для него между бараками заключенных и местами их работы. Он почувствовал непонятное волнение, глядя в добродушное, невинное лицо этого красивого русского парня. Выросший без братьев и сестер, Пригель вдруг испытал запретную для него симпатию к Вадиму и сразу спросил его имя.

В серой завесе тоски, которая никогда не поднималась над гигантским лагерем, в этой пелене бессмысленности и тупого повиновения, для Пригеля на миг образовалась щель. Недолго думая, он сказал начальнику караула: «Штурмфюрер, в моей группе на вале один заключенный болен, нужна замена. Этот новенький молод и силен, нам необходим как раз такой». Штурмфюрер небрежно махнул рукой: «Берите его, Пригель. Желаю хорошо с ним повеселиться... Вы работаете с восемью валами. Есть ли в Ваших упряжках поляки?»

«Так точно, штурмфюрер, пять поляков, пятнадцать русских, восемь евреев и четыре свидетеля Иеговы».

«Пестрая команда. Особенно следите за поляками. Позавчера в Равенсбурге сбежали три полячки. Но они далеко не уйдут».

С коротким «Так точно, штурмфюрер» Отто Пригель щелкнул каблуками и взял Вадима Николаевича под свое покровительство. По дороге к бараку VI он сунул Вадиму в карман половину плитки «СС-шоколада», которую достал из кармана. В бараке он нашел для него место на верхних нарах, где зимой было теплее всего. Вадим совершенно растерялся, когда Пригель похлопал его по плечу: «Ничего, Вадим, работа тяжелая, но ты справишься. Здесь привыкают ко всему...».

Пока унтер-офицер шел к выходу между рядами нар, на которых сидели и лежали изможденные работой узники, с нижнего яруса навстречу Вадиму поднялся Михаил Кирганов, старый русский заключенный, немного понимавший по-немецки. Он перевел Вадиму то, что сказал эсэсовец, и приступил к расспросу: «Откуда ты? Сколько тебе лет? Почему тебя арестовали?» Вадим был рад, что может, наконец, говорить по-

русски. Он рассказал товарищу все, что тот хотел о нем знать. «Моего отца немцы застрелили. Он был партизан, хороший партизан». Михаил махнул рукой и продолжал шепотом: «Я знаю, я тоже бывал в лесах. Меня они арестовали потому, что у меня в заплечном мешке нашли три буханки, которые я стащил с машины обеспечения. Этого достаточно, чтобы загреметь в лагерь.

Впрочем, тебе повезло. Эсэсовец, который привел тебя, командует нашей вальц-командой. Он из «добрых»: не такая сволочь, как все, не бьет слишком часто и разрешает чаще отдыхать. Наверное, он записался в СС добровольно. Есть такие, понимаешь, которые записываются, чтобы получить свидетельство об окончании школы».

Впереди, около входа в барак, задвигались заключенные. Принесли ужин — чан жидкого картофельного супа и черный хлеб, буханку на десять человек. Михаил поотцовски заботился о Вадиме: принес ему миску и подарил выструганную им самим деревянную ложку. Он объяснял новичку, как живут в бараке, какие здесь правила и распорядок дня, какие функции выполняют надзиратели и старший по бараку, кто из эсэсовцев за что отвечает, и, главное, как и когда их надо приветствовать.

Вадим старался все понять и запомнить: подъем в пять, очередь на умывание, завтрак, состоящий из сухого хлеба и кофейного напитка, перекличка на большой площади, построение в ряды по пять человек и так далее.

Вадим хлебал водянистый картофельный суп и желал только одного – уснуть. Он забрался на свое место на нарах, над Михаилом Киргановым, сделал из своего вещевого мешка подушку и устроился на дырявом, набитом соломой матрасе. Его соседи по нарам были еще внизу — они сидели в проходе на корточках и курили самокрутки из газет и листьев ежевики. Поднимающийся к потолку приятный пряный дымок смешивался с запахом пота и лизола, к которому Вадиму еще предстояло привыкнуть. Скоро стемнело. Несмотря на шум и гам вокруг, Вадим погрузился в глубокий сон. Ему снилась украинская деревня, партизаны, отец и мать.

Рано утром, около пяти, он вскочил по свистку старшего по бараку, выстроился вместе с Михаилом в очередь для умывания. Он впервые пил теплый кофейный раствор из своей миски и глотал твердую корку хлеба. Потом, не говоря ни слова, ему вытатуировали пятизначный номер на запястье и он получил полосатый костюм заключенного. Когда в этом костюме он шагал рядом с Михаилом, а Пригель весело объяснял ему его обязанности, показывая на четвертый вал, Вадим стал одним из бессчетных колесиков гигантской машины обесчеловечивания. И даже симпатия со стороны Отто Пригеля не могла ничего изменить в работе этой машины, убивавшей или калечившей каждого, кто в нее попадал.

IX

Уже три недели Вадим находился в лагере – время, достаточное для того, чтобы полностью изменить ритм своей жизни, приспособиться к тяжелой, монотонной работе в этом ежедневном, ежечасном аду, к постоянным колебаниям своего состояния от полной апатии до всплесков возмущения необходимостью подчиняться приказам, чтобы избежать ударов плеткой и побоев.

В одно из воскресений старший по бараку VI обнаружил во время побудки три пустых места на соломенных матрасах. Вернулись ли три поляка в лагерь вчера вечером? Были ли они после работы, когда Пригель уже ушел и надзиратели собирали заключенных, чтобы конвоировать их обратно в лагерь? Поляки могли сбежать тогда

или на обратном пути через лес. Если кто-то из конвоиров уже напился в предвкушении воскресенья, из задних рядов можно было незамеченными свернуть с дороги в кустарник. Лагерь полнился слухами, но никто ничего не знал наверняка.

Воскресенье отводилось на уборку и стирку. В этот день барак всполошил внезапный сигнал тревоги с крыши комендатуры. Сирена долго и протяжно выла на весь лагерь. Сигнал означал, что все обязаны немедленно покинуть помещения и построиться в ряды по пять человек. Вероятно, будет говорить комендант, и, скорее всего, о побеге. Суматоха среди солдат на воротах и вышках не предвещала ничего хорошего.

Через четверть часа после сирены тысячи заключенных стояли рядами по пять человек в каждом перед своими бараками. Мягкие солнечные лучи позднего лета согревали грубый гравий лагерных улиц. Напряженная тишина над колоннами была прервана треском из громкоговорителя.

Резкий, почти срывающийся голос произнес: «Говорит комендант. Я сообщаю, что три польских заключенных предприняли попытку побега.

Наш лагерь является структурой, подчиняющейся германскому рейху и его фюреру Адольфу Гитлеру. Лагерь основан на принципах повиновения и порядка, дисциплины и чистоты, честности и верности долгу.

Попытка побега будет иметь тяжелые последствия. Она будет наказана. Я приказываю: если пропавшие не заявят о себе до пятнадцати часов, каждый десятый из барака VI будет расстрелян. Разойтись!»

Михаил все перевел своему другу. Когда они вернулись на нары, Вадим дрожал, как лист. Шестой барак – это мы!

Ближайшие четыре часа — четыре вечности — прошли для заключенных в безмолвном повторении бессмысленного вопроса: кого убьют?

Ровно в пятнадцать часов в барак вошел унтер-офицер: «Всем выйти и построиться в два ряда вдоль барака. Толкаться и хитрить не имеет смысла. С кого начнется счет, решаю я!»

Это звучало настолько по-деловому, будто Отто Пригель был специалистом по децимации. Сто девяносто семь обитателей шестого барака молча, с опущенными головами, двинулись к выходу. Вадим держался около Михаила. Они хотели стоять рядом. Старший по бараку изо всех сил старался помочь надзирателями выстроить людей в два ряда вдоль освещенной солнцем стороны длинного здания. Пригель подошел и начал с переднего ряда. С бездушной тупостью «ангел смерти» исполнял приказ коменданта. Словно играя в рулетку, он сделал ставку на восьмого слева – с него начался жуткий отсчет:

«Один, два, три, четыре...» Десятый должен сделать шаг вперед. «Один, два,...» до следующего десятого. Уже пятеро вышли вперед, сделали свой шаг в смертельную ночь.

Унтер-офицер считает дальше, и следующий, на кого выпадает счет «десять» - это Вадим. Пригель запнулся и смотрит несколько секунд в глаза, трясущегося от страха юноши, оставляет его стоять и хватает на плечо одиннадцатого, Михаила. Он вырывает его на один шаг из строя вместо Вадима. В то время как эсэсовец идет дальше, Михаил Кирганов стоит погруженный в себя. Потом он поднимает глаза на Вадима, едва заметно кивает головой, как бы говоря: «Так оно лучше. У тебя еще впереди вся жизнь, всего тебе хорошего».

Вадим не может молчать и не может говорить, его душат рыдания, сдержать которые он не в силах. Девятнадцать избранников под конвоем увели в другой конец лагеря, на песчаную площадку у штрафного бункера. Колонна стояла перед бараком еще полчаса, слушая залпы, которыми их убивали.

Несмотря на жаркое солнце, Вадима бил озноб. С того момента, когда был выбран Михаил, он чувствовал себя меченым: на нем осталась кровь друга, погибшего вместо него. Отто Пригель спас ему жизнь, но убил человека, по-отечески заботившегося о нем.

В молодой душе поселилась непостижимая тайна, которая никогда больше ее не оставляла. Через шестьдесят лет, на севере России в столице Карелии Петрозаводске незадолго до своей смерти Вадим Николаевич огромными усилиями откроет единственный в своем роде музей бывших узников концентрационных лагерей. Музей будет посвящен Максимилиану Кольбе, францисканскому монаху, который 14 августа 1941 года во время акции устрашения в Освенциме дал себя расстрелять вместо отца семейства: «Так будет лучше — сказал он, - у меня ведь нет семьи, а ты еще нужен близким. Всего тебе хорошего».

Максимилиан Кольбе стал святым покровителем последнего замысла Вадима на земле. Украинский крестьянин и партизанский сын всю жизнь пытался искупить «вину» за то, что его друг оказался казнен вместо него.

Однако прежде, чем мы дойдем до того дня, когда Теофил Бетчер встретится с Димой Зильберштейном в петрозаводском доме Вадима, и история партизанской Торы подойдет к своему завершению, калейдоскоп двадцатого столетия перевернется для наших героев еще не однажды.

X

В состав вальц-команды входил и Ефим Абрамов, тридцатилетний красноармеец из Ленинграда. Вадим уже обратил внимание, как по вечерам тот сидел со скрещенными ногами на соломенном матрасе с обмотанным вокруг одной руки ремешком и, не обращая ни на кого внимания, раскачивался всем телом, бормоча какие-то молитвы. Вадиму показалось, что он различал два повторяющиеся слова: «шма срель...» или что-то похожее, Конечно, он даже не догадывался, что бы это могло значить. До сих пор он не имел дела с евреям. Вскоре после его рождения, ночью, бабушка вынула Вадима из люльки и тайно отнесла к священнику, чтобы тот покрестил его по старому православному обычаю. Под пение молитв и псалмов, многократно благословив ребенка крестными знамениями, его трижды опустили в купель. С тех пор Вадим, сам того не подозревая, стал православным христианином.

О евреях он знал только то, что однажды во время праздника Пасхи сказала ему бабушка. Он спросил ее, почему на деревянном кресте в углу горницы прибит Христос с терновым венком на голове. Бабушка только сказала:

«Это евреи сделали. За это Бог их проклял».

Эти восемь слов лжи исчерпывали знания Вадима о евреях. Неужели их может оказаться достаточно для того, чтобы желать евреям зла, лагерей или полного истребления?

Когда Вадим видел своего товарища по работе раскачивающимся на нарах, с руками, сложенными на груди, он должен был вспомнить бабушкины слова. Он должен был хотя бы смутным предчувствием догадаться, что ему еще многое нужно узнать, многому предстоит научиться.

В тот страшный воскресный день казни Ефим стоял во втором ряду и сбоку очень хорошо видел, что происходило с парнем. Когда Вадима миновала смертная чаша, Ефима волновало только одно — как облегчить боль этого симпатичного паренька? Чего стоят все молитвы, если не удается утешить плачущего ребенка? Он же еще почти ребенок! Итак, в этот вечер он отказался от молитвы и забрался на нары к Вадиму, сел с ним рядом и положил руку ему на плечо. Это было долгое, согревающее молчание. Для Вадима присутствие и близость другого человека было защитой от собственного обнаженного сердца. Ужас, который его охватил, постепенно улегся, утих, и в нем забрезжила тоска по жизни. Этот участливый, тихий человек, Ефим Абрамов, был для него посланником далекого Бога из доброго мира.

«Как ты попал в лагерь?» – прервал их молчание Вадим.

«Они взяли нас в плен в котле под Курском. Мы упустили момент выбросить наши паспорта. Трех других евреев из моей части они ликвидировали на следующий день. Меня оставили жить только потому, что я физик, – он вымученно улыбнулся, – физики всегда нужны на войне, даже если они евреи».

Разговор с Ефимом согревал сердце Вадима. Его чувства ожили, будто кто-то убрал камень, преграждавший течение потока.

«Но что же все-таки вы, евреи, сделали такого немцам, что они хотят всех вас уничтожить?» – спросил Вадим после долгого молчания.

«Знаешь, нас ненавидят с давних времен. О причине тебе лучше спросить у священников. А вот почему так особенно жестоко это делают немцы, этот народ поэтов и философов – в школе я, знаешь ли, учил наизусть стихи Гете и Мерике! – почему именно немцы обращаются с нами, как с отбросами, этого еще никто не смог мне объяснить».

Гете, Мерике – Вадим никогда не слышал эти имена. Их деревенский учитель читал им Пушкина и Горького.

Вдруг ему захотелось узнать, что Ефим делал, когда закончил школу. Этот вопрос и ответ на него отвлекали его от давящего кошмара. Любопытство к жизни и мыслям товарища по несчастью имели целебный эффект.

«Как ты, физик, пришел к тому, чтобы каждый вечер молиться?» — спросил он и сам испугался своего прямого вопроса — не обидится ли Ефим? Но тот, наоборот, обрадовался, что Вадим разговорился:

«Если тебя это интересует, мой овдовевший отец был ортодоксальным евреем. Он состоял в правлении синагоги, и ему разрешалось в шаббат читать Тору. На моей Бар-мицве он сказал, что мечтает, чтобы я, его единственный ребенок, стал однажды раввином. Когда я достиг твоего возраста, он послал меня в школу Талмуда в Ленинград. Там я изучал древний еврейский язык, на котором написана Тора. Однако вскоре я заметил, что не гожусь в раввины, что меня интересует физика, и я начал изучать физику. Но мою религию я люблю по-прежнему. После института я получил хорошее место в научно-исследовательской лаборатории одного крупного предприятия. Но потом началась эта проклятая война».

«Талмуд, что такое Талмуд? И что такое раввин? И шаббат? Что такое Тора?» – Вадим не осмелился задавать такие вопросы. Он задал другой:

«А твой отец еще жив?»

«Если бы я это знал! – ответил Ефим с болью в голосе. – В прошлом году немцы его арестовали. Незадолго до начала блокады он поехал ненадолго в провинцию, на похороны, а вернуться назад уже не смог. Он прятался где-то в сельской местности, но

его кто-то выдал. Вероятно, ты знаешь пословицу: «Самый страшный человек в стране – это предатель». Через три дня его увез товарный поезд в направлении Прибалтики, возможно, в Ригу».

Ефим нервно передернул плечами. Через какое-то время Вадим спросил сбивчиво и горячо:

«Вот ты молишься каждый вечер. Помогло ли это тебе хоть раз?»

Ефим рассмеялся: «Когда мы, евреи, произносим наши молитвы «Шма Исраэль», «Шмонэ-эсре» или поем псалмы, мы не думаем при этом о выгоде. Тогда мы вспоминаем о нашем народе, как он терпеливо сносил рабство в Египте, о его переходе через пустыню в землю обетованную, о пребывании в Вавилоне и, в конце концов, о рассеянии по всему свету и преследованиях после того, как был разорен и разрушен Храм. И потом, мы хотим говорить с Вечным, как говорили наши отцы, как говорят со своей матерью или со своим другом. Ты знаешь, Он никогда тебе не изменит, Он всегда с тобой, и ты можешь Ему все рассказать. Ведь тебе хотелось бы больше всего, чтобы там, где тебе плохо, с тобой бы был твой друг?» Ефим разговорился, его речь становилась все быстрее и громче.

«Молиться – значит отдать все свое сердце тому, кого ты любишь – Вечному, в котором ты находишь одновременно отца и мать. Он не волшебник, который может перенести меня из вальц-команды на пальмовый остров. Но Он будет со мной, когда я сижу в штрафном бункере. А если так, то Он должен вместе со мной дрожать, держать меня за руку и говорить что-нибудь хорошее, успокаивающее. И так всегда и бывает. Он всегда скажет что-нибудь хорошее, если ты можешь его услышать».

Вадиму еще никто никогда не говорил о подобных вещах. И вдруг он опять отчетливо увидел, как Пригель выхватывает Михаила за плечо из строя.

«Сегодня я ничего не слышал! – крикнул он – Ни единого слова от Бога не слышал я сегодня!»

Ефим молчал. Как мог он произносить такие речи перед этим семнадцатилетним парнем после того, что случилось! Прошло много времени, прежде, чем он чуть слышно прошептал: «И тогда, когда ты Его не слышишь, Он здесь».

Он сказал это больше для себя и не сразу понял, что раньше и сам не всегда в это верил. Эти слова — та хрупкая оболочка, которая окружает неизрекаемую тайну, из которой проистекает все сущее.

Конец коричневой чумы 1945

XI

Казалось, время в Заксенхаузене остановилось. Бесцветная рутина перекличек, работы и возвращения вечером назад в бараки, плохое питание и лагерный быт истощали и подтачивали не только физические силы. Лагерь наводил на людей тяжелейшую апатию, которая заглушала голос надежды, душила желание жить.

Для Вадима единственной опорой стал Ефим Абрамов. Вечерние молитвы товарища с нижних нар, которые Вадиму поначалу казались бессмысленным бормотанием, со временем обрели глубокое значение, которое он постигал своим ищущим, чутким сердцем. Никто не осмеливался мешать этому ежедневному ритуалу. Напротив, в бараке чувствовалось растущее уважение к этому несломленному человеку, придерживающемуся без всякого ханжества своего тысячелетнего наследия в самом сердце ада.

Последняя военная зима постепенно уступала место весне. В конце марта Вадима вновь поджидала смертельная опасность. В лагере свирепствовал грипп. Вместе с тем среди заключенных быстро распространялись электризующие слухи: Красная Армия переправилась через Одер, американцы уже на берегу Рейна.

«Что они сделают с нами, когда придут освободители? Всех уничтожат? От фашистов этого вполне можно ожидать...».

Остановить слухи и предположения было невозможно. Но Вадим не принимал участия в этих разговорах, ему было не до того: несмотря на бившую его лихорадку, он все-таки вышел на работу к валу, так как очень боялся, что в последний момент нетрудоспособных могут ликвидировать. Привезли крупную грубую щебенку с острыми краями, которую нужно было разровнять граблями по проезжей дороге вдоль лагерного забора.

Пригель торопил их, так как с запада приближались грозовые тучи. Колени Вадима дрожали, сердце стучало, как молот, голова гудела от боли. Вдруг у него потемнело перед глазами, и он рухнул на землю.

Унтер-офицер забеспокоился о юноше, который ему нравился, достал носилки, разрешил Ефиму сопроводить его в медицинскую часть и оставаться там, пока Вадим вновь не придет в сознание. Даже здесь иногда пробивались слабые ростки человечности. Наступающие союзники сами не знали, что из за их успехов низовые эсэсовцы стали лучше обращаться с заключенными, надеясь, что это смягчит кару, которую готовили им победители.

Когда Вадим пришел в себя, санитар дал ему аспирина и горячего чая с коньяком, который занес в лазарет сам Пригель. Ефим погладил его по голове:

«Теперь осталось уже недолго. Скоро все кончится». – Вадим улыбнулся, слабо кивнул головой и погрузился в забытье. С этого момента Ефим знал, что, несмотря на истощение и слабость, теперь он поправится.

В конце апреля с востока стали доноситься раскаты тяжелой артиллерии — звуки надежды и утешения для узников лагеря. Они наблюдали за нервным поведением охранников. Перед комендантом и его командой стояла гигантская проблема: как уберечь лагерь от наступающего фронта и как им самим избежать возмездия со

стороны приближающихся победителей. Вовремя покинуть лагерь и предоставить заключенных самим себе или начать последнюю оргию убийств и все взорвать?

Но вскоре даже самые радикальные идеологи Заксенхаузена и Ораниенбурга поняли, что для реализации последнего варианта понадобится больше времени, чем им дает наступающий враг. Тогда они спешно построили большую часть заключенных в колонны по сто человек и погнали их маршем на запад, куда-то в направлении Бельзенских гор. Для бесчисленного количества измученных людей этот поход стал последним.

Через два дня в лагере при попутном ветре можно было услышать лязг цепей советских танков. Когда остатки колонн вернулись в лагерь, их встретила тишина. Не было видно ни одного надзирателя, ни одного эсэсовца, пустые сторожевые вышки сиротливо чернели в небе. Несколько ходячих больных из медицинского барака вышли навстречу с криками: «Они ушли, мы свободны!»

В первую очередь заключенные ворвались в продовольственные склады, где началась беспорядочная драка. Заключенные боролись друг с другом за каждую консервную банку, за каждую буханку хлеба. Стеллажи специального снабжения СС пострадали больше всего — огромное количество яиц и бутылок с коньяком было просто разбито в суматохе.

Заключенные — немцы сразу отправились в путь и тем же вечером были на вокзале в Ораниенбурге. Ненавистные надсмотрщики из числа заключенных-уголовников вдруг исчезли с лица земли, как по мановению волшебной палочки. Только двое попали в руки толпы; их притащили на песчаную площадку для расстрелов и там избили до полусмерти. Старшие по баракам по-прежнему пытались навести порядок в этом хаосе. Их заключенные тоже недолюбливали, но понимали, что какойто минимум правил в жилище для двухсот человек необходим в конце концов им самим.

Первая ночь свободы была особенно неспокойна. Узники разграбили запасы шнапса и коньяка, а им, истощенным работой и голодом, достаточно было сделать один глоток алкоголя, чтобы упасть без чувств. Но это было счастливое опьянение – опьянение выживших в смертельной опасности.

Только на следующее утро русские подвели боевые машины к воротам лагеря. Двое красноармейцев изумленно прочли по буквам надпись над входом:

В этот день лагерный лозунг больше подходил для самих русских солдат: их жертвенная борьба, наконец, привела к освобождению десятков тысяч измученных и униженных людей.

Вадим в этих событиях не участвовал. Лихорадка понемногу улеглась, но он постоянно впадал в состояние между бодрствованием и сном. Опять и опять ему казалось, что он у себя дома в деревне, что мать наливает ему чай с медом, гладит его по щеке, потом он лежит около убитого отца. Иногда он видел, как перед ним стоит Михаил, а он пытается удержать его от последнего рокового шага, но появляется Отто Пригель и, ухмыляясь, выхватывает Михаила из шеренги.

Позже Вадиму расскажут, как три русских солдата вынесли его из лазарета к санитарной машине с красным крестом, как Ефим все объяснял им про Вадима и оставался при нем все время, пока тот не пришел в себя в лазарете Ораниенбурга. Ефим сидел у него на краю кровати и осторожно кормил его с ложки овсяной кашей. Да,

Ефим был его добрым ангелом. И чем больше Вадим чувствовал, как он удаляется от смерти, тем больше сил у него появлялось для выздоровления. Через две недели он уже мог, опираясь на руку Ефима, прогуливаться по разрушенным улицам Ораниенбурга и обсуждать с другом главные насущные вопросы: каким путем идти, что сделать с жизнью, которая досталась им в дар. Сейчас его не волновали вопросы «за что», «почему» и «как это могло произойти».

Ефим рассуждал:

«Тебе хорошо, Вадим, ты молод, мир для тебя открыт. Возможно, твоя деревня сохранилась. А я приеду в разрушенный город. Вчера один наш офицер рассказал мне, что Ленинград был девятьсот дней в блокаде, погибло более шестисот пятидесяти тысяч жителей. Университет бомбили, Эрмитаж сильно пострадал. Вероятно, моего отца больше нет в живых. Брат моего отца, мой дядя, живет в Карелии. Он работал в университете в Петрозаводске. Посмотрим, может быть там я смогу найти место как специалист по электронике и полупроводникам. Но я забиваю тебе голову своими проблемами. Лучше расскажи о твоих планах! Как ты думаешь, что бы могло из тебя получиться? Чем бы ты хотел заниматься?»

Вадим слушал с напряженным вниманием. Чем дольше Ефим говорил, тем больше Вадим им восхищался. В нем зарождалась белая зависть к Ефиму. Некоторое время они шли молча, потом Вадим остановился, взял Ефима за руку и сказал, глядя куда-то в даль:

«До сих пор у меня в голове было только одно – как бы скорее вернуться к матке Светлане, моей матери. Она потеряла мужа. С тех пор, как меня увезли в Запорожье, она ничего обо мне не слышала.

Но раз уж ты задал мне этот вопрос...я всегда с удовольствием рисовал и чертил, делал фигуры из глины. Однажды учитель мне сказал: «Вадим, однажды ты станешь художником!» Но можно ли на это жить? Я что-то сомневаюсь».

В раздумьях они шли дальше. Теперь Ефим внезапно остановился и сказал:

«Вадим, у меня идея. Для начала ты должен получить образование графика. В Петрозаводске есть хороший институт, там ты сможешь учиться, дядя поможет тебе туда поступить и, конечно, поможет с жильем. А я, скорее всего, буду работать гденибудь рядом».

У Вадима закружилась голова. Он еще не мог наверняка планировать свою жизнь, но идея Ефима была заманчива. О Петрозаводске он ничего не знал — какой-то город на севере, тысячи километров от Украины. Он ни разу о нем не слышал, но возможность опять видеть Ефима, когда они вернутся обратно в Россию, зажгла искру надежды в его сердце.

Через год Вадим сядет на киевском перроне в поезд на Ленинград, в Ленинграде пересядет на мурманский поезд и сойдет в Петрозаводске, на берегу Онежского озера. На вокзале столицы Карелии его встретит Ефим, а дома у дяди Ефима ему поднесут первую рюмку бальзама, ** горького-сладкого ликера, настоенного на травах.

Так в одном из городков земли Бранденбург, недалеко от концлагеря, начала сплетаться одна из нитей истории партизанской Торы.

-

^{**} Очевидно, автор имел ввиду «Карельский бальзам», который, однако, начал производиться в Карелии лишь с 1976 года.

XII

Пришло время вспомнить о Теофиле Бетчере, который через четыре года после окончания войны добрался из Воркуты до своей родины. Позади осталось два семестра изучения богословия. Мы уже видели его в Венеции, перед храмом Санта-Марияделла-Салюте, когда он, прикрывая глаза ладонью, смотрел через канал Гранде на собор Святого Марка. Захваченный впечатлениями от роскошного барокко, он стоял, плохо понимая, что происходит вокруг него. Он даже не заметил трех хорошеньких жизнерадостных студенток искусствоведения, которые, весело болтая, проследовали к порталу собора. Проходя сюда через город, он словно весь перенесся в прошлое. Его волновало это резкое противоречие: с одной стороны, очищенное от евреев гетто Нуово, депортация отверженных незадолго до окончания фашистской чумы, с другой – этот подавляющий своим великолепием мемориал благодарности за окончание черной чумы три столетия тому назад, когда вину за эпидемию хотели взвалить на евреев. Там разоренная синагога — здесь это единственное в своем роде прекрасное сооружение! Разве это храмы двух разных, враждующих богов?

Когда Теофил медленно спускался по ступеням к пристани, он уже знал, что он будет изучать на богословском факультете и чему сам будет учить других как пастор. Перед ним взошла двойная звезда Синагоги и Церкви — охваченные одним силовым полем две пылающие громады, вращающиеся за счет взаимного притяжения и отталкивания. В их силовом поле — Ветхий и Новый Завет, трехтысячелетняя Тора с Синая, «Шма Исраэль» и Пресвятая Богородица — еврейская девушка, которая две тысячи лет назад родила еврейского мальчика Иисуса. Это он проповедовал своему народу на горе: «Вы — свет мира, вы — соль земли». ^{††} Неужели христиане спокойно дали угаснуть этому свету, когда, сложа руки, смотрели, как жгут синагоги и громят гетто Нуово?

Там же, в Тюбингене, где он изучал богословие, Теофил Бетчер стал протестантским священником, там он остался и пустил корни. У него были друзья среди коллег. Вместе с деканом он отвечал за приход в центральной, старинной части города. Активно участвовать в жизни сограждан — религиозной, социальной, культурной — он считал обязательным. Он жил в чарующей атмосфере немецкой старины на берегу Некара, где еще остались виноградники и виноделы, где жизнь текла в спокойствии и безоблачной радости, хранимая свято чтимым добрососедством и движимая упрямым духом инициативы. Проезжая в воскресенье после полудня по деревням, трудно было не поддаться обаянию этой сказочной страны, где над трактирными стойками висели библейские цитаты — свидетельство набожности людей земли: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» или «Дай сикеру погибающему и вино огорченному душой». Но, конечно, творческий контраст миру коренных жителей, так называемых «гогенов», составлял университет — мир студентов и науки. Неповторимый облик Тюбингену придавало именно это сочетание винодельни и университета.

^{††} Нагорная проповедь, Матф. 5:13.

^{‡‡} Послание к Ефесянам 5:18.

^{§§} Притчи 31: 6.

Перестройка 1985 - 1989

XIII

Теофил служил пастором в Германии уже почти тридцать лет, когда два слова, произнесенные Михаилом Горбачевым, сотрясли весь мир и вывели его из оцепенения холодной войны. Слова «Перестройка» и «Гласность» в газетных передовицах стали сенсацией.

Обрадовались и в Тюбингене: наконец, желающие могли без затруднений поехать к Черному морю, на Волгу, в Киев и Курск, в Москву и Ленинград. Как грибы, росли организации, комитеты и рабочие группы по налаживанию контактов с Советским союзом. Речь президента Германии Рихарда фон Вайцзекера в сороковую годовщину окончания войны была переведена на русский, и уезжающие в Россию группы везли ее в подарок русским друзьям. В этой речи впервые восьмое мая тысяча девятьсот сорок пятого года было названо не Днем поражения, а Днем освобождения. Фон Вайцзекер имел мужество назвать нападение на Советский союз преступлением и поставил на повестку дня вопрос о примирении с русским народом.

В Тюбингене Теофил входил в группу, которая так и называлась: «Примирение с Советским союзом». Конечно, ему сначала необходимо было разобраться со своей собственной биографией. Воркута, оставшаяся позади, была настоящим «жизненным университетом». Здесь он постиг, что такое человек, на что он способен в делах Зла и Добра, как в нем может сочетаться Человеческое и Нечеловеческое. Опыт, пережитый им в Воркуте, должен послужить другим людям. Идеи били ключом. Одна из них оказалась особенно популярной: мы в Тюбингене хотим иметь русский городпобратим, который пострадал от немецкого нашествия.

Однажды Теофил и член муниципалитета Иохим Кристол отправились в русское посольство в Бонн. Первый секретарь посольства Геннадий Богушвили, свободно говоривший по-немецки, доброжелательно выслушал их просьбу об установлении побратимских связей. Потом он попросил принести ему какую-то папку с документами и, перелистав содержимое, нашел нужную бумагу:

«У меня есть для вас интересное предложение. В прекрасной Карелии, богатой лесами и озерами, совсем недалеко от Петербурга, – он улыбнулся, – Вы же понимаете, для нас в России сто километров, как для вас десять, – итак, на Онежском озере, втором по величине озере Европы, находится столица Карелии Петрозаводск. Этот город был основан Петром Великим в один год с Санкт-Петербургом. Там проживает двести восемьдесят тысяч жителей, среди них много финнов. В городе есть университет и несколько профессиональных учебных заведений. Муниципалитет Петрозаводска выразил желание иметь город-побратим в Западной Германии. Я передам вам копию этого документа – здесь вы найдете все необходимые сведения. Во время войны город был оккупирован финнами и наполовину разрушен немецкими бомбардировками ****. Я думаю, пришло время стремиться к взаимопониманию и завязывать дружеские контакты». После короткого молчания он продолжал: «Возможно, однажды мы сможем прийти к настоящему примирению, ведь Россия и Германия имеют много общего исторического опыта и мы очень нуждаемся друг в друге».

-

^{***} Во время войны Петрозаводск был оккупирован финскими войсками. Немцы его не бомбили.

На обратном пути из Бонна Теофил вел машину по берегу Рейна. У него осталось хорошее впечатление от визита к послу:

«То, что говорил Богушвили, звучит неплохо. Петрозаводск – своего рода пригород Петербурга. Еще в царское время город Петра Великого называли «Венецией севера». Там много протоков и каналов, много дворцов и церквей в классическом стиле. Вы когда-нибудь бывали в Венеции?»

Член муниципалитета покачал головой, рассматривая лежащую на коленях карту России: «Что будет, то будет, но сначала мы должны взглянуть на Петрозаводск своими глазами. К тому же он недалеко от Петербурга, одного из интереснейших городов Европы. Мой отец был там после войны в плену, участвовал в восстановлении разрушенного города. Я еще спросил у Богушвили, не будет ли дешевле, чем самолетом, попасть туда на пароме из Любека через Балтийское море — с пересадкой в Хельсинки, или напрямую, с транспортом гуманитарной помощи. До Петербурга так можно добраться за два дня, а потом еще шесть часов нужно ехать вдоль Ладожского озера на грузовике... Нет, самолет мне определенно нравится больше», — сказал он, смеясь.

Проезжая Кобленц, Теофил продолжал рисовать картину будущего: «Для начала, мы вдвоем поедем на разведку, или, лучше сказать, как сваты. Если идея о побратимстве найдет отклик у мэра, и он пошлет нашим приглашение, тогда мы попросим муниципалитет послать в Карелию официальную делегацию. В свою очередь к нам приедут петрозаводчане, возможно, на праздник города, летом. И тогда мы отпразднуем свадьбу между нашими городами. Как ты думаешь?»

«С Вурмлингским голубым бургундским и Тюбингенским шлоссбергом!» - воскликнул Иохим Кристол. Он только поражался, насколько этот пастор, который был на полжизни старше его, оказался способен строить такие радужные каритны будущего. Самому Кристолу все это было нелегко представить, хотя ему сразу понравился довольно наивный план Теофила.

Прошло еще какое-то время; на пути к осуществлению замысла возникали сложности. Но в один прекрасный день Теофил и член муниципалитета Кристол в сопровождении переводчика — тюбингенского студента-слависта — вылетели в Петербург. В Петрозаводск они приехали рано утром и сразу были приглашены на прием в мэрию. Уже во время первой поездки на такси по городу, отстроенному после войны, они получили о нем первое представление. Мэр города, приветливый и сердечный мужчина, был уже обо всем уведомлен Богушвили, и сразу перешел к делу. Три бутылки лучшего швабского вина и фотоальбом с видами Тюбингена остались на столе главы мэрии как подарки к помолвке. Официальное приглашение для коллег из тюбингенского муниципалитета не заставило себя долго ждать.

Делегацию возглавил сам обер-бургомистр. После возвращения из восьмидневной поездки по северу России члены делегации с восторгом делились своими впечатлениями с коллегами, рассказывая об удивительном радушии хозяев, о прекрасных ландшафтах на Онего, о веселом и задорном народном гулянии на празднике первого мая, о православном богослужении в соборе, о традициях русского застолья, где непонятно, что важнее – пить водку или изливать соседу душу. Делегаты вспоминали и посещение сауны, во время которого главы обоих городов «угощали» друг друга березовыми вениками – занятие, особенно способствующее укреплению связей между двумя народами. В заключении обер-бургомистр выдвинул предложение позвать петрозаводчан в Тюбинген. Оно было принято единогласно.

Город готовился принять гостей на день города.

«Русские едут!» — теперь этот возглас — о, чудо! — отзывался не страхом, а надеждой. Председатель комитета по празднованию закончил первое заседание с юмором, как истинный шваб. С преувеличенно озабоченным выражением лица он произнес: «Наша первоочередная задача— сделать так, чтобы в эти дни русские переключились с водки на наше вино». И добавил под одобрительный хохот: «С кем чокнутся бокалами, в того уже не стреляют». Так просто швабскому виноделу удалось сформулировать проблему войны и мира.

Праздник города шел три дня, и гости из России были на нем главными людьми. Они не жалели стараний, чтобы перестроиться с водки на вино. Они восторгались атмосферой швабского праздника и пронзительными пейзажами Альбских гор. Самой серьезной проблемой оказалось найти русский флаг, чтобы поднять его муниципалитетом, но и ее наконец решили — оказалось, что флаг был у штутгартской ячейки ДКП — Коммунистической Партии Германии.

В пятницу, во время прощального ужина, Теофил спросил русскую переводчицу:

«Какова сейчас ситуация в экономике вашей страны?»

«Перестройка наступила слишком быстро. Она поставила все с ног на голову, и теперь треть населения живет за чертой бедности. Неделю назад в газете появилось объявление от одного восемнадцатилетнего парня с просьбой помочь ему с брюками, потому что ему не в чем выйти из дома».

Это слышали сидевшие рядом с Теофилом член муниципалитета Кристол, его помощник на петрозаводском «сватовстве», и женщина из редакции местной газеты.

Иногда троих человек достаточно, чтобы сделать чудо. Человек без брюк — этот образ, словно огненные письмена на стене, ††† отрезвил и ужаснул их. Неожиданно Кристол сказал:

«Господин пастор, у моего друга Хайнера Хартшвайка есть семитонный грузовик. Если Вы сможете достать полный грузовик одежды, тогда мы с Хайнером и с Вами поедем в Карелию. Обещаю!»

Теофил ответил коротко: «Ловлю Вас на слове», а журналистка все записала в блокнот. В субботу о новой инициативе можно было прочитать в газете. В воскресенье Теофил и его коллеги обратились к прихожанам после воскресной службы. Объединение мелких промышленников, пожарники и хоровое общество распространили это обращение, и уже в понедельник, около одиннадцати часов утра зал заседаний в муниципалитете был переполнен мешками и картонными коробками с отличной, почти неношеной одеждой. Одежды было так много, что зала не хватило, и вещи продолжили собирать в церкви. Скамейки в церкви были похожи на прилавки в магазине — волонтеры сортировали мужские и женские, летние и зимние вещи, верхнюю одежду и белье, пуловеры и куртки. Через границу можно было перевозить только рассортированную одежду.

В среду вечером грузовик Хайнера Хартшвайка был набит до предела. В четверг Теофил пошел к своему декану – настоятелю собора, чтобы покаяться: его кирха

предначертания надвигающейся беды.

^{†††} В Ветхом Завете (Дан. 5:26-27) пророк Даниил объясняет значение начертанных на стене таинственной рукой слов призвавшему его вавилонскому царю Валтасару: «МЕНЕ – исчислил Бог царство твое и положил конец ему», «ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким». В светской культуре эти слова стали условным обозначением предзнаменования смерти важных персон,

превратилась в сборный пункт гуманитарной помощи и наполнена не христианами, а одеждой и обувью, которую туда приносит весь город. Если на помощь волонтерам не придут конфирманты и их родители, то воскресную службу придется проводить между ящиками и пластиковыми мешками с пальто, куртками и трусами.

Декан отреагировал так, как Теофил и ожидал. Пастор всегда хорошо относился к своему старшему коллеге, к этому высокому блондину с волнистыми волосами, необычайно голубыми глазами на выразительном, немного угловатом лице. Его «прусская» манера держаться не всегда была коллегам по вкусу – по выправке можно было заметить, что когда-то декан был офицером. Он стал майором в конце войны, перед тем, как решил вернуться на родину и продолжить начатое до войны богословское образование. Нельзя сказать, чтобы он был человеком властного, авторитарного типа. Напротив, его дружественно-братская манера общения, искренняя открытость, заинтересованность социальными проблемами вызывали у всех уважение. Он легко входил в непринужденный контакт с людьми, и тот факт, что он не пренебрегал рюмкой вина в дружеском кругу, у сограждан, видевших Церковь лишь со стороны, мог вызывать к нему лишь дополнительную симпатию.

Он имел только одну странную особенность: декан Эрлер всегда — и летом и зимой, по воскресеньям и в будние дни — поверх темной безрукавки носил коллар — черный или светло-серый круговой стоячий воротник с белой полосой посередине горла. Такие коллары носят католические священники, а почему им подражает декан евангелической Церкви земли Вюртемберг, Теофил никогда не спрашивал.

Людвиг Эрлер обрадовался приходу Теофила. Когда тот закончил со своим «покаянием», Эрлер довольно рассмеялся: «Вы подали нам отличную идею. В будние дни церковь стоит пустой. Теперь она послужит действительно хорошей и благоразумной цели. Это ведь тоже служение Богу, не правда ли? Если до воскресенья Вы не успеете упаковать вещи, значит, мы проведем самую оригинальную воскресную службу, которую нам когда-нибудь доводилось проводить. Когда люди будут произносить «Отче наш...», упираясь локтями и коленями в мешки с одеждой, они постигнут не только умом, насколько конкретна может быть вера и помощь ближним – «...хлеб наш насущный..., нашу одежду насущную дай нам на сей день».

Теофил решил воспользоваться благосклонностью декана: «Если получится с побратимскими связями наших городов, тогда мы должны установить мосты и между церквями. Православная церковь переживает сейчас подъем, а в Петрозаводске должно быть около двух тысяч евангелистов. Это финские лютеране. Кроме того, там есть баптисты, методисты и другие свободные церкви».

«Брат Бетчер, если Вы поедете с грузом гуманитарной помощи, осмотритесь там как следует, – отозвался Эрлер. – Кто знает, что еще там есть».

XIV

Бетчер ехал на север. Он сидел в кабине грузовика рядом с водителем Хайнером Хартшвайком и своим другом, членом муниципалитета. Их путь лежал в Любек, потом паромом до Хельсинки, оттуда по берегу Балтийского моря до Санкт-Петербурга и еще четыреста километров до Петрозаводска.

Была середина лета, стояли белые ночи, и все это было похоже на великолепное приключение. Кошмарные воспоминания о Воркуте растворились в розово-сером тумане. Перед Теофилом встала могучая, зеленая, поросшая березовыми лесами страна с серебристыми озерами и суровыми скалами. Эта страна только что пробудилась от

больного сна тирании. В городе им оказали такой дружественный и сердечный прием, словно петрозаводчане знали тюбингенцев уже много лет. Валентина Пономарева, доцент германистики педагогического института, была отличным переводчиком. «Раньше мы пугались, когда говорили «немцы идут», а сегодня мы едва можем дождаться, когда вы приедете опять, — переводила она слова мэра на одной из официальных встреч, и в ее темных глазах горел озорной огонек. — Так меняются времена. Немецкие друзья, добро пожаловать!»

Пока студенты под руководством Хайнера Хартшвайка занимались разгрузкой гуманитарной помощи, Теофил отвел переводчицу в сторону:

«Фрау профессор, Вы так хорошо все переводили, разрешите мне...»

«Если мы принимаем гостей, мы говорим друг другу «ты», — перебила его Валентина. — Разреши мне называть тебя Теофил. А меня зовут Валя. Итак, что ты хотел спросить?»

«Валя, – продолжал Теофил, – разреши задать вопрос, который тебя, возможно, удивит: живут ли в вашем городе бывшие узники концлагерей? То есть, ты понимаешь – те, кто побывал в немецких концлагерях или на принудительных работах?»

Валентина удивленно взглянула на него:

«О таком меня еще не спрашивал никто из немцев. Да, здесь есть Объединение узников фашистских лагерей, примерно четыреста членов. Двое из них пережили Освенцим, один в семнадцать лет попал в Заксенхаузен. Он как раз у них председатель, Вадим Николаевич. Но почему ты об этом спрашиваешь?»

Теофил собрал для ответа все свое мужество:

«Ты должна знать – я провел как военнопленный четыре года в Воркуте, и знаю – во всяком случае, могу себе приблизительно представить, что значит побывать в концентрационном лагере. Хотя Заксенхаузен нельзя сравнить с русским лагерем для военнопленных в Воркуте».

Валя всплеснула руками: «Ты побывал в Воркуте и приезжаешь сюда с гуманитарной помощью? Я атеистка, прожила полвека, и на тебе — чудо!» Она вдруг сжала Теофила в объятиях, не задумываясь над тем, что могут подумать студенты. И без того взволнованного Теофила это непосредственное проявление чувств тронуло до глубины души. Он продолжил:

«Могу я кое о чем попросить? Нельзя ли примерно двадцать процентов гуманитарной помощи распределить среди нуждающихся из бывших заключенных?»

«Само собой, Теофил, я обо всем позабочусь. А у Вадима Николаевича есть телефон. Может быть, он сможет прийти прямо сейчас».

Вскоре около наполовину разгруженного грузовика, дребезжа, остановилась легковая машина. По «Волге» было видно, сколько лет она уже возила владельца по ухабистым дорогам вдоль Онежского озера. Из нее вышел седой мужчина, примерно семидесяти лет, среднего роста, коренастый, с живым лицом, изрытым глубокими морщинами. Его светло-голубые глаза за толстыми стеклами очков сделали круг по разгружаемой машине, студентам, Теофилу, и остановились на Валентине:

«Здравствуйте, Валя, что случилось?»

Он говорил быстро, высоким голосом. Валя говорила еще быстрее, живо жестикулируя, и коротко объяснила ему ситуацию — закладываются побратимские связи с городом Тюбингеном в Западной Германии, оттуда прибыл грузовик с гуманитарной помощью.

Она обратились к Теофилу:

«Разреши представить тебе Вадима Николаевича. Он глава общества бывших узников концлагерей, живет в нашем городе уже почти сорок лет. Он график, дизайнер техники, раньше работал на Тяжбуммаше, заводе, который производит машины для бумагоделательной промышленности.

Вадим, это Теофил Бетчер, твой, так сказать, товарищ по несчастью. Он провел четыре года в Воркуте, в лагере для военнопленных, и теперь высказал желание, чтобы часть гуманитарной помощи получило твое общество».

Вадим Николаевич был смущен и какое-то время стоял молча. Наконец, он широко улыбнулся Теофилу и долго тряс его руку – тоже молча. Ему было трудно так сразу осмыслить эту странную связь: Воркута, грузовик с гуманитарной помощью и этот чужой человек из Германии.

Отпустив руку Теофила, он обратился к Валентине с просьбой:

«Объясни ему, что он мой гость. Ему не нужна гостиница, он может ночевать у нас. Надя немного говорит по-английски, а я еще припоминаю кое-что из немецкого, чему научился в Заксенхаузене. Мы поймем друг друга».

Это было начало крепкой дружбы между Вадимом и Теофилом. Надя – вторая жена Вадима – преподавала биологию в университете. Ее гостеприимство переходило все границы. Длинного вечера в их небольшой трехкомнатной квартире не хватило, чтобы исчерпать темы Воркуты, Заксенхаузена и всего, что случилось за сорок лет, с тех пор, как Ефим привез своего протеже, крестьянского юношу с Украины, в столицу Карелии.

На следующее утро Вадим и Надя повезли гостя на своей старенькой «Волге» на край города. Там, в местечке под названием Пески, находится кладбище четырехсот пятидесяти красноармейцев, погибших в тысяча девятьсот сорок четвертом году при освобождении Петрозаводска. Надя возложила купленные по дороге цветы к памятнику погибшим советским солдатам. Глядя на могилы, Теофил вспомнил о своем друге Пфэфлине, историке искусства и знатоке Венеции, умершем в Воркуте, о зажженной в память о нем свече и об «Отче наш» в Санта-Мария-делла-Салюте. Невольно он сложил руки и стал про себя молиться за тех, кто погиб здесь и в Воркуте. Ему пришла в голову мысль, что силы людей, умерших слишком рано, сплачивают живущих, хоть живущие и говорят на разных языках.

На обратном пути внимание Теофила привлек заброшенный лесок на краю участка захоронений. Вадим сжал его руку, и показал на этот лесок. Надя перевела на английский каждое его слово:

«Там похоронены тысяча двести немецких военнопленных. После войны они восстанавливали разрушенные дома в Петрозаводске. Погибли в основном от голода и холода».

После долгой паузы Вадим продолжил:

«Теофил, у меня возникла мысль. Ты был в лагере, я был в лагере. Мы оба знаем, что это такое. Ты приехал как друг. Почему бы нам не сделать и для этих немецких солдат хорошее кладбище и памятник, не привести в порядок их могилы? Тогда вы могли бы приезжать, чтобы возложить цветы на немецкие могилы. Теофил, мы должны это сделать, пока не все еще забыто. Мы должны примириться над могилами. Гитлеровская чума позади, сталинская чума позади, Заксенхаузен и Воркута позади. Но мы не можем, не должны ничего забывать. Там, в Заксенхаузене, покоится прах моего друга Михаила, который умер вместо меня».

Вдруг он расплакался. Сильные, долгие рыдания сотрясали его. Надя обняла мужа, стала гладить его по седым волосам, как мать гладит своего плачущего ребенка, и расплакалась сама. Теофил тоже не мог сдержать слез. Плачущая троица, на которую снизошел парящий над кладбищем Святой Дух – освобождающий дух раскаяния.

Когда они закончили плакать, Вадим повторил еще раз:

«Мы должны заключить мир над могилами. Я спрошу людей нашего объединения, они мне помогут. И тогда я приглашу на каникулы ваших гимназистов. Мы вместе сделаем из этого заросшего леса прекрасный парк, мы приведем в порядок могилы и поставим памятник. Что ты об этом думаешь?»

Теофил молча обнял и поцеловал своего нового друга. Трудно поверить, но именно в этот момент такая же идея возникла у многих жителей обоих городов. Через два года она получила свое воплощение — мемориал в Песках стал реальностью.

На обратном пути Теофил задал вопрос, не подозревая, какие последствия — для него, для многих других людей из Германии и России, а может быть, и для их потомков — этот вопрос будет иметь:

«Есть ли в вашем обществе евреи, которые пережили Холокост? Валентина говорила о двоих, побывавших в Освенциме».

«О да, Соломон Абрамович и Эзра Семенов».

«Сколько же евреев в Петрозаводске?» – спросил Теофил.

«Этого я тебе сказать не могу. Я только знаю, что с начала перестройки существует Еврейское культурное общество. До этого евреи не смели о себе заявить. Если хочешь, я могу тебя познакомить с их руководителем Дмитрием Зильберштейном».

Через два дня в квартире Вадима вместе с Теофилом сидели еще три посетителя: супруги Зайденберги и Дмитрий, по профессии музыкант, концертмейстер в музыкальном и драматическом театрах, высокий худощавый мужчина с характерным профилем. Его серо-голубые глаза бросали скептически-дружественный взгляд на немца. На столе были приготовлены Надины пироги и бутылка водки.

Теофил представился и без обиняков поинтересовался, как организована жизнь евреев в городе после Перестройки.

Дмитрий коротко рассказал о самом главном: наконец-то они могут без больших препятствий праздновать еврейские праздники, для этого они даже получат от города помещение, где смогут собираться. Им стало легче поступить на службу в государственные учреждения, и главное, им отведут для воскресной школы помещение, пустующее по воскресеньям, а Зайденберги там, в школе, будут преподавать.

«Что же вы делаете в воскресной школе?» – спросил Теофил.

«В школе занимаются от восьмидесяти до ста школьников, мы преподаем детям новый иврит, рассказываем о наших традициях, о нашей истории, объясняем смысл еврейских праздников и вместе их празднуем».

Господин – или товарищ? – Зайденберг говорил живо и увлеченно:

«Если мы, как народ, хотим выжить, то воспитание нужно начинать с молодежи».

Теофил, которому импонировала эта инициатива снизу, спросил:

«Но сколько же здесь живет евреев?»

Ответ Дмитрия его ошарашил:

«В Карелии живет около полутора тысяч, из них в Петрозаводске более тысячи двухсот человек. Но до сих пор некоторые еще боятся открыто признать себя евреями».

«Это больше, чем во всем Вюртемберге», – пробормотал Теофил. И тут же задал вопрос, который привел в движение лавину:

«Если вас так много, почему у вас нет синагоги?»

«Очень просто, – сказал Дмитрий, – потому, что у нас нет Торы».

Теофил плохо понял этот ответ. Вероятно, Дмитрий хочет сказать, что за семьдесят лет коммунизма и атеистического воспитания еврейская вера в основном забыта?

И тогда шестидесятипятилетний пастор Теофил Бетхер задал наиглупейший за всю свою богословскую жизнь вопрос:

«Вы полагаете, что вера в Бога для евреев потеряла связь с Торой?» «О нет, нет, наоборот, просто у нас нет свитка Торы! Мы не можем себе позволить купить его».

Теофил хотел было извиниться, – не обидел ли он Зильберштейна? – но у него ничего не получилось.

«Если дело только в этом, то я вам Тору достану», – сказал он, не имея понятия, что значит приобрести свиток Торы и сколько он стоит.

Дмитрий смотрел на Теофила с полуоткрытым от удивления ртом: этот немец явно свалился с луны. Он покачал головой почти сочувственно и тихо сказал:

«Невозможно, это ведь невозможно».

О Возможном и Невозможном можно долго спорить. Многие политики в своих обещаниях путают одно с другим. Они выдают Невозможное за Возможное, а Возможное за что-то чересчур сложное, чтобы оправдать собственные провалы. Но по пути на родину, зажатый в кабине грузовика между Хайнером Хартшвайком и членом муниципалитета, Теофил знал одно: евреям в Петрозаводске нужна синагога, а от немцев они получат Тору.

По приезде домой он первым делом направился в деканат. Людвиг Эрлер с нетерпением ждал его рассказа. Когда наконец речь зашла о евреях, Эрлер спросил как бы между прочим:

«Есть там синагога?»

«Для этого у них не хватает главного – у них нет Торы».

Теофил посмотрел своему декану и брату по служению прямо в глаза:

«Брат Эрлер, я обещал еврейским друзьям, что они получат от нас Тору. Могу я рассчитывать на Bac?»

Эрлер был ошеломлен:

«Доннерветер, Бетчер! Это будет уникальнейшее явление в нашей церкви, а, возможно, во всей Германии: мы не обращаем евреев в христианскую веру, а помогаем основать новую синагогу, чтобы евреи могли оставаться самими собой, и еврейская жизнь могла бы развиваться дальше. Мне нужна ночь на раздумья».

Теофил продолжал, и в этот раз он точно знал, что попал в яблочко: «В тысяча девятьсот тридцать восьмом году во всех немецких землях были сожжены синагоги, и едва ли хоть один руководитель церкви, один декан, один священник сказал или

предпринял что-либо против этого, кроме очень немногих, которых не воспринимали всерьез. Тогда Геббельс заявил: «Со стороны церкви реакции не последовало. Теперь в еврейском вопросе руки у нас развязаны». Я никогда не забуду моего учителя в Геттингене Иванда, который во время лекции вдруг воскликнул: двухтысячелетней вражды к евреям и забвения Израиля церковью хрустальная ночь была бы невозможна, и, вероятно, если бы церковь не молчала, когда жгли синагоги, не случился бы Холокост!» Нацисты хотели искоренить еврейского Бога, но мы забыли, что Он и наш Бог тоже. Коричневая чума позади. Неужели мы не можем в знак нашего стыда и раскаяния за произошедшее подарить евреям города-побратима Тору и помочь им с синагогой?»

Эрлер молчал. Он оттянул указательным и средним пальцами левой руки свой стоячий воротник, будто он стал ему тесен, будто ему не хватало воздуха. Это было странное молчание, и оно озадачило Теофила. Почему декан ничего не говорит? Может быть, я чересчур резок? У Теофила возникло чувство, что Эрлер в своих мыслях теперь очень далеко отсюда, у какого-то невидимого ему рубежа. Наконец Эрлер откашлялся:

«Наверно, Вы правы. Вероятно, все именно так, как Вы сказали. Но мне никогда не доводилось слышать эти мысли в такой острой формулировке».

После паузы он продолжал дальше подчеркнуто серьезным тоном:

«Брат Бетчер, я на три года старше, чем Вы. Через три года я ухожу в отставку. Я бы очень хотел принять участие в том, что Вы задумали. Могу ли я перейти с Вами на «ты»?»

Теофил с удовольствием согласился и удивился, как легко ему это далось. Он радостно смотрел, как декан вышел и вернулся с двумя бокалами и охлажденной бутылкой тюбингенского Зонненберга.

Тора для Петрозаводска 1996

XV

Чудо Пятидесятницы заключалось в том, что представители многих народов Средиземноморья обрели общий язык и смогли понимать друг друга хотя бы на один день. Это была победа над вавилонским смешением языков. Тюбингенское Чудо Пятидесятницы заключалось в том, что все местные конфессии и церкви оказались едины в желании общими усилиями приобрести свиток Торы для передачи в Россию. Со скоростью пожара по улицам и переулкам Тюбингена распространялась весть: евреям Петрозаводска нужна Тора. Наша синагога сгорела, евреи депортированы или бежали, так давайте поможем создать синагогу в нашем городе-побратиме.

К делу подключились радио и пресса, и вскоре каждый человек мог узнать, сколько требуется денег для успеха предприятия. Это была значительная сумма, но через три месяца она была собрана. Поскольку Святой Дух работает без оглядки на государственные границы, неудивительно, что дипломированный софер, согласившийся сделать один бывший в употреблении, но хорошо сохранившийся свиток Торы кошерным, нашелся в Лондоне. Новый свиток Торы на кошерном пергаменте стоил бы вдвое дороже. Кошерность свитка предполагает, что каждая буква Книги Моисея должна быть строго проверена. Разрешены неточности в написании только трех букв древнееврейского квадратного шрифта.

Когда Теофил в третий раз разговаривал по телефону с партнером в Лондоне, ему удалось немного снизить цену. В конце разговора он спросил софера:

«Не могли бы Вы мне сказать, откуда происходит эта Тора и кому она раньше принадлежала?»

«Оh, - последовал ответ, - excuse me, I don't know; this is a question, which I cannot answer. Она попала сюда после войны. Наш главный раввин хранил ее у себя. Помню, он говорил что-то об офицере королевской авиации, но подробностей он не знал. Возможно, офицер нашел этот свиток где-то, где шли военные действия, и привез сюда. Главное, что она в полном порядке и будет доставлена в Петербург».

Следующий акт чуда произошел в Санкт-Петербурге, во второй по величине синагоге мира. Благодаря своему расположению среди зданий города, эта синагога пережила блокаду и бомбардировки. Раввины организовали для немецкой и карельской делегаций полноценный праздник в соответствии с традицией. Все скамьи синагоги были заняты. Под огромным куполом пролетел потревоженный голубь и сел на высокую балюстраду. Оттуда он смотрел на немецкого консула, израильского посла, репортера «Правды», русского корреспондента «Вельт», на телевизионные камеры и на собравшихся.

Теофил сидел в первом ряду, рядом с членом тюбингеновского муниципалитета и Лорой Ауэр, старейшиной его церкви. Кантор самозабвенно пел сто девятнадцатый псалом, восхваляющий красоту и мудрость Торы. Затем вперед вышел ветеран войны в орденах и сказал взволнованным голосом:

«До сих пор в своей жизни я видел только, как синагоги разрушались, а общины распускались. Сегодня я впервые присутствую при создании новой синагоги».

Он сам не знал, насколько оказался прав: действительно, то был первый случай открытия новой синагоги в России после Второй мировой войны.

Затем настал кульминационный момент. Ворота ограды на возвышении, где стоял арон-кодеш, открылись, и Дмитрий Зильберштейн спустился по ступеням, неся в руках завернутую в вышитый платок кошерную Тору из Лондона. Он нес ее, как мать несет своего новорожденного ребенка. За ним спускались в праздничной процессии Зайденберги, все раввины Петербурга и четыре члена синагогального совета. Все встали, и Дмитрий пошел между скамьями, чтобы каждый мог прикоснуться или поцеловать Тору. Когда он опять поднялся на «амвон», вперед выбежали десятки детей, окружили Дмитрия и, хлопая в ладоши, начали танцевать вокруг Торы. Кантор запел молитву, и ангелы на небесах считали слезы радости, падающие на землю.

По существу, Петрозаводск является пригородом Петербурга: он отстоит от него всего на четыреста километров, и был основан в то же время, в 1703 году. Здесь обнаружили железную руду, в которой великий царь Петр I нуждался, чтобы вести войну со Швецией. Без железа не бывает войны, по крайней мере, в так называемое «новое время». Когда ночной поезд из Санкт-Петербурга (названного в честь апостола Петра) прибывает в столицу Карелии (названную в честь Петра Великого), в Петрозаводске его встречают так же, как в Потсдаме — электричку из Берлина. В России пространство ощущается по-другому и «немецкие» километры здесь надо умножать на два.

Утром в пятницу, точно в семь утра поезд остановился у необычайно многолюдного перрона – здесь находилась половина всех членов общества еврейской культуры. Всю неделю они готовились к приему гостей и приводили в порядок помещение, арендованное под синагогу. Из дерева сделали временный арон-кодеш – специальный ящик для хранения свитка Торы в течение шести будничных дней, смастерили подобие бимы - широкий стол с наклонной поверхностью, на котором будет разворачиваться Сефер-Тора для чтения, а под бимой соорудили полки для молитвенников. Женщины очень старались: они вышили плат, на котором должна разворачиваться Тора и коврики, чтобы украсить стены синагоги. Менору на аронкодеш уже пожертвовал главный раввин из Петербурга. И вот они, взволнованные, стояли на перроне, чтобы приветствовать Тору, Царицу их народа, сердце их сообщества. Двери вагона открылись, и по ступенькам осторожно спустился Дмитрий. Он прижимал к себе свое «дитя», возвращенный к жизни свиток, заботливо завернутый в зеленый платок. Он прижимал этот невиданный подарок к себе обеими руками, словно ему грозила опасность. За ним на платформу спустились Зайденберги и три гостя из Тюбингена, из далекой Западной Германии. Усталость прошла. Небо какой-то особенной голубизны расстилалось над головами встречающих. И вдруг перед Теофилом возник Вадим Николаевич. Объятия были настолько крепкие, что у обоих трещали ребра. Вскоре «Волга» петрозаводчанина уже просела под весом трех немцев и их багажа. Дмитрий кричал вслед Вадиму:

«Не забудьте, завтра в десять состоится шаббат, пожалуйста, без опозданий!»

Жена Вадима накрыла стол к завтраку: горячие сосиски с яичницей и густой кукурузной кашей, к этому красный перец и нежные огурцы с дачи. И, конечно же, рядом с самоваром, где кипел черный чай, стояла бутылка водки. Теофил подумал, что при таком рационе водка нужна просто для того, чтобы помочь пищеварению.

На следующий день около десяти они были на месте. Помещение, предназначенное для синагоги, находилось в полуподвале многоэтажного дома. Перед входом стоял Дмитрий в кипе и талите и приветствовал приходящих. Теофил, Вадим и член муниципалитета тоже получили по кипе, круглой шапочке, обязательной в синагоге для посетителей мужского пола: «покрой свою голову в знак глубокого

почтения перед Вечным». Женщинам достаточно было шали. Для них были предусмотрены специальные скамейки.

Точно в десять Дмитрий переступил порог переполненного помещения. В воздухе звенело восторженное напряжение — ожидание праздника и чуда. За Зильберштейном шел Израиль Ефремович, преподаватель петербургского раввината. Людям раздали молитвенники-сидуры. За очень короткой вступительной речью Дмитрия последовали молитвы.

Теофил был захвачен происходящим. Он словно поднялся в какой-то другой, солнечный мир, воспарив над густыми облаками повседневности. Он поражался, с каким терпением и спокойствием эти мужчины, проводившие свою первую субботнюю службу, следовали ритуалу поклонения. Прошло полчаса, прежде чем Дмитрий вместе с подошедшим Теофилом приблизились к ковчегу с Торой и торжественно открыли его. Он взял обернутый в бархат двойной свиток за выступающие деревянные ручки и вынул его из ковчега. Израиль Ефремович осторожно снял покров, и Дмитрий бережно, как спящего ребенка, положил Тору, прекрасную, единственную в своем роде и незаменимую, на наклонную поверхность молитвенного стола, нагнулся и поцеловал ее. Затем он привел в движение деревянные валики, которые облегал тяжелый пергамент, и развернул свиток слева направо до первой главы книги «Брейшит» скиги Начала, этого невероятного, непостижимого Начала. Сегодня, кроме предусмотренных для этого шаббата фрагментов, надо было прочитать древнейший из всех священных текстов Ветхого Завета:

«В начале Бог создал небо и землю».

Израиль Ефремович протянул Дмитрию серебряную указку для чтения – к святым буквам ни в коем случае нельзя прикасаться пальцами. Дмитрий громко и торжественно начал читать то, что однажды учился читать Теофил на курсе древнееврейского:

«Берэшит бара Элохим эт хашамаим веэт хаарэц. Вехаарэц хайета тоху вабоху» (Быт. 1:1). Голос Дмитрия становился все сильнее и тверже, и все, даже не понимающие иврита, с благоговением слушали древний текст. Одно они понимали: это слова Вечного, которые были доверены им и их народу, как представителю всех народов земли — это Слово, до, после, выше и важнее которого ничего нет. Дима остановился и передал указку Теофилу. Теофил, тюбингенский пастор, призвав все свои познания в древнееврейском, с расстановкой читал трехтысячелетние слова, двенадцать маленьких отрывков из книги Моисея, читал на языке Моисея и Израиля. Дальше чтение продолжал Израиль Ефремович. Он читал без затруднений, плавно, что никого не удивляло. Шаббат Дмитрий закончил Молитвой Благодарения. Затем Теофил произнес привезенную с собой речь, которую блестяще переводила Валя, судя по громким и живым аплодисментам общины. В этой речи Теофил сделал акцент на обращение апостола Павла, еврея, к христианам нееврейского происхождения, принадлежавшим к римско-эллинистическому духовному миру: «не вы носите корень (оливы Израиля), но корень вас» (Римл. 11:18).

Когда собравшиеся встали и вышли в соседнее помещение, где их уже ждали закуски, Теофил остался стоять в задумчивости перед столом, на котором лежала Тора. Он взял в руки потертые деревянные рукоятки. Он никогда еще не прикасался так к свитку Торы! Его взгляд внимательно скользил по подарку из Вюртемберга, лежащему перед ним, которого на празднике в Петербурге он только слегка коснулся. Он впервые

-

^{‡‡‡‡} Книга Бытия (Genesis) в христианской традиции.

^{§§§} Здесь и далее транскрипции древнееврейских текстов авторские.

осматривал сверху и снизу четыре темно-коричневые деревянные тарелочки, предохраняющие свиток от повреждений. Он удивлялся прочности пергамента, и тому, с какой любовью и аккуратностью на него были нанесены буквы.

Насколько старым может быть этот свиток? Уже второй раз он задавался этим вопросом, на который ему не ответил переписчик из Лондона. Откуда произошла эта Тора, кто мог раньше ею пользоваться? Какой путь она проделала во времена преследований подходящего к концу века, во время фашистской чумы, когда разрушались синагоги и уничтожались гетто?

Этот вопрос глубоко засел в его сердце. Такой пергаментный свиток не падает с неба, он имеет собственную историю в том мире, где его создали – в мире евреев, рассеянных по всему свету. Неожиданно его взгляд упал на деревянную тарелочку, которая прикрывала свиток снизу справа. На ее нижней стороне несколько нечетко, сверху едва различимо, были выцарапаны буквы. С волнением склонившись ниже, он смог различить на твердой буковой древесине пять письменных знаков, разделенных тремя точками. Они были до двух сантиметров высотой и, по-видимому, их нацарапали, держа свиток на весу. Первая буква совершенно определенно – "V". Две следующие распознать было почти невозможно. Вторая была или "a", или "s", или "e", а третья могла быть "u", "n", или "m". Затем следовала точка и потом хорошо различимая большая "G" и снова точка. Последняя буква представляла собой что-то среднее между «М» и «N». В Теофиле проснулся сыщик. Быстро записав все на клочке бумаги, Теофил обратил внимание Дмитрия на свое открытие, когда тот подошел, чтобы наконец убрать Тору в шкаф. Дмитрий, рассмотрев знаки на деревянной тарелочке, только улыбнулся, как будто хотел сказать: «Мне бы твои заботы...», и произнес: «Не знаю. Неужели это так важно?»

Теофил возразил: «Я родился в стране, где Тора была обесчещена. Меня волнует вопрос, какая история стоит за этой Торой. Она содержит самое святое для евреев, обращение Бога».

Задумавшись, Дмитрий замолчал и потом сказал: «А для меня важно, что она нашла свою новую родину у нас. Однажды мой отец сказал мне: «Еврей без Торы не еврей». Отныне мы опять стали настоящими евреями, и за это мы вам благодарны».

Теофил, как ребенок, захлопал в ладоши: «Дмитрий, за это надо выпить»! Что они незамедлительно и сделали.

Радостное застолье в освещенной синагоге, с праздничными яствами – бутербродами с рыбой и икрой, пирогами, салатами всякого вида, искусно приготовленными хозяйками, с водкой и подаренной Израилем Ефремовичем бутылкой вина «Кармель» — продолжалось до начала концерта в городском Доме культуры, который был дан в честь гостей и привезенного ими подарка. Дмитрий в дуэте с известным в городе скрипачом исполнили Крейцерову сонату Бетховена. Присутствовал мэр города — он произнес перед полным залом короткую речь. Десятки лет до перестройки в стране подспудно тлел антисемитизм, поэтому предложение, ставшее кульминацией речи градоначальника, достойно того, чтобы о нем помнили потомки:

«Я прошу еврейских сограждан не уезжать из страны. Без вас город осиротеет».

Ни до, ни после этого никто из еврейских и нееврейских жителей Петрозаводска не слышал таких слов. Вернувшись с шаббата, Теофил в счастливой эйфории рухнул на постель, заботливо приготовленную ему Вадимом. Перебирая в голове важные моменты прошедшего дня, он снова и снова возвращался к тайне пяти букв. Думая об этом, он погрузился в глубокий сон без сновидений.

Во время позднего воскресного завтрака Вадим по привычке включил телевизор. В конце новостей культурной жизни сообщалось, что русский фильм на Биеннале в Венеции завоевал приз. Теофил слушал краем уха. Показали короткую сцену из фильма, и в конце репортер сказал по-русски: «...репортаж из Венеции».

Теофил вздрогнул всем телом, вскочил и бросился к Вадиму: «Я понял, Вадим, я понял – «V» – означает «Венеция», вторая и третья буквы «е» и «п». Тогда «G» и «N» - могут значить только: «Getto Nuovo» – «гетто Нуово». Вадим, я разгадал! За это надо выпить водки!»

Вадим смотрел на него, как на сумасшедшего. Он снял очки с толстыми стеклами, провел ладонью по лбу, а Надя решила:

«Видно, все это для него чересчур: перелет, ночной поезд, шаббат, концерт, белая ночь, чужая постель. Теофил, ты не хочешь еще немного полежать?»

«Нъет, нъет! – выкрикнул он по-русски, и принялся сбивчиво объяснять озабоченной Наде по-английски самое важное. Постепенно она начала понимать, что он не переутомился, и почему все это ему так важно.

«Видишь, - сказала она Вадиму, - и твоя телезависимость пригодилась». По мере того как она пересказывала открытие Теофила своему мужу, тот улыбался и трепал гостя по плечу.

Первый визит после своего возвращения Теофил нанес Людвигу Эрлеру, и тот не мог наслушаться новостей из Петрозаводска.

«Откуда наш свиток Торы, как ты думаешь? Угадай с трех раз».

«Разве она не из Лондона?», – спросил Эрлер.

«Конечно, конечно, но ты и понятия не имеешь, где она была до этого. Знаешь, где я больше всего люблю проводить отпуск? И вот как раз там, в Венеции, в гетто Нуово – родина нашей Торы».

«Но как, ради всего святого, она попала оттуда в Лондон?»

«Это я еще раскопаю, можешь на меня положиться».

«Я жду с нетерпением, – ответил Людвиг Эрлер, и в его голосе можно было уловить скептические нотки. – Надеюсь, ты выяснишь это прежде, чем я уйду на пенсию».

По следам свитка

XVI

Гетто Нуово! Как далеко то время, когда Теофил студентом стоял перед бронзовой доской над дверями синагоги Scuola Spagnola, где написано о разорении гетто и депортации его обитателей.

И вот он опять стоит перед этой доской с душераздирающими барельефами и удивляется, как равнодушно проходит мимо нее большинство туристов. И не только немецкие туристы — сюда едут со всего мира, из Англии, Франции, из Японии и Америки, чтобы не заметить этот памятник преступлению, которое совершалось на этой площади, возможно, уже в дни их жизни, в новейшее время. Те же, кто оглядывается на барельеф и читает надпись под ним — если они способны чувствовать сострадание, неужели в их сердце ничего не происходит?

Пересекая площадь, Теофил мысленно перенесся назад в Воркуту, к Пфэфлину, благодаря которому, он так полюбил Венецию. Почему все-таки он ничего не рассказывал о гетто Нуово? Скорее всего, он просто не обратил на него внимания. Во всяком случае, это случилось не по злому умыслу. Теофил прошел мимо старого, закрытого железной решеткой колодца, к аркадам, под которыми недавно был открыт музей гетто. В это утро в музее тихо. Толпы туристов больше интересуются сувенирными лавками, меню кошерных ресторанов и товарами в витринах модных бутиков, которые в гетто Нуово, как и везде, больше бросаются в глаза, чем тусклые вехи минувших столетий.

Теофил начал кропотливую работу по сбору информации. Пожилая дама за музейной кассой дружелюбно посмотрела на нерешительного посетителя:

«Что я могу для Вас сделать?» – спросила она по-немецки почти без акцента.

«Как Вы догадались, что я немец?»

«По интуиции. Большинство наших посетителей приезжают из Германии. Это место... – она запнулась – ...связано с немецкой историей».

«О да, с нашей немецкой историей... – закивал Теофил, – ...да, это так. Именно поэтому у меня к Вам есть особое дело. Возможно, Вы знаете кого-нибудь из еврейских очевидцев произошедших событий, которые во время депортации смогли скрыться или вернулись в Венецию после войны? Мне нужно выяснить одну важную вещь».

Немного подумав, она вышла из-за стойки и повела с Теофила аркадами на соседнюю улицу:

«Видите, напротив находится ашкеназская синагога, единственная действующая синагога в гетто. В нее ходит мало народа, но время от времени там служит очень старый кантор, мой дальний родственник. Когда к гетто приближались гестаповцы, он смог в последний момент спастись бегством у своего школьного товарища на острове Мурано. Но его адреса я не знаю. Идите в талмуд-тора вон там, рядом, и спросите кантора Аарона Симионе».

В хлебной лавке, где раньше выпекалась лучшая в гетто маца, теперь потребляли хлеб духовный. Вывеска над дверьми главила: «Йешива Гедола-Любавич». В большое окно, прежде служившее витриной, были видны около дюжины сидящих перед пультами молодых мужчин в черных сюртуках и кипах, с пейсами и бородами. Эти люди — последователи знаменитого польского раввина из местечка Любавичи, они целый день занимаются только тем, что вгрызаются в текст Торы, Талмуда, Аггады.

Одни погружены в себя и при чтении покачиваются всем телом вперед и назад, как стоячие маятники, другие бурно жестикулируют, обсуждая с соседом прочитанное. Наблюдающим снаружи помещение напоминает сумасшедший дом. И, тем не менее, все здесь – движение и покой, спор и углубление в текст – направлено к единой цели: постижение смысла откровения свыше, напечатанного на бумаге словами человеческого языка.

Когда Теофил собирался нажать на кнопку звонка, дверь распахнулась, и из нее на площадь вышел старый господин в черной шляпе и лапсердаке. Теофил подумал, что, это, возможно, учитель, и обратился к нему по-английски.

«Аарон Симионе? – ответил тот. – Да, знаю, но он живет не на площади, а в Джудекке. Подождите немного».

Он зашел в школу, чтобы выяснить точный адрес и возвратился обратно с листком:

«Виа Лоренцо Марчелло 49, и вот номер телефона. Только, имейте в виду, Аарон очень стар. Его можно посетить только после сиесты, не раньше 16 часов», - сказал он, улыбаясь, и попрощался.

Теофил предупредил о своем посещении по телефону.

Его встретила жена кантора, выглядевшая довольно молодо. Она вышла замуж за овдовевшего Аарона Симионе несколько лет назад.

«Мы можем говорить по-немецки. Несколько семестров я изучала историю искусств в Мюнхене».

Малоподвижный Аарон сидел в глубоком кожаном кресле. Теофил взглянул на усталое, изборожденное морщинами лицо. Высокий выпуклый лоб, густые брови, глубоко сидящие черные глаза, нос с горбинкой, полные губы, длинная волнистая седая борода — так мог бы выглядеть брат Моисея Аарон, когда на горе Синай он впервые поднял руки в «Аароновом благословении», освящая кочующий тысячелетиями народ Бога.

Когда старый кантор понял, чего от него хочет немецкий гость, когда он услышал о выцарапанных на свитке Торы буквах, он весь задвигался, как будто хотел вскочить со своего сиденья, и в его глазах появился трудно объяснимый блеск. Что это за румянец на его бородатых щеках — краска гнева, или, может быть, Теофил своим рассказом растревожил старую рану, коснулся памяти о том, о чем лучше забыть?

Перед глазами старого кантора встали события ранней осени тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда для него открылась бездна преисподней. В канун шаббата в начале сентября обитатели гетто Нуово, живущие неподалеку от площади, собрались к ашкеназской синагоге. Прошел слух, что приехал раввин из соседнего хорватского города Риеки и будет вести службу. Это был молодой, темпераментный раввинреформатор. Неудивительно, что в синагоге оказалось больше посетителей, чем обычно.

Перешептыванья на скамьях смолкли, когда после чтения Торы Яков Бернштейн вышел за кафедру. Воцарилась напряженная тишина. Присутствущие, и прежде всего молодежь, не были обмануты в своих ожиданиях. Раввин, по ашкеназскому выражению, «говорил тахелес» — то есть говорил то, что у всех на уме, но что никто не дерзает сказать во всеуслышание. Он толковал историю Иисуса Навина — после смерти Моисея тот должен был перевести еврейский народ через Иордан в неизвестную землю обетованную, зная, что там их ожидают только война и битвы.

Вероятно, он бы подбирал выражения с большей осторожностью, если бы обратил внимание на сидящего в задних рядах человека. Его черная «еврейская» шляпа плохо сочеталась с черной кожаной курткой, а на коленях он держал блокнот.

Бернштейн знал, насколько опасным стало политическое и военное положение Италии после того, как свергли Мусолини и Бадольо перешел на сторону союзников. Италия теперь была частью антигитлеровской коалиции. В Сицилии и Калабрии высадились американцы. На севере англичане вместе с войсками Бадольо километр за километром теснили фашистов Мусолини и пришедшие им на помощь немецкие батальоны, оккупировавшие Фриули, Ломбардию и Венецию.

Как будут немецкие войска, поддерживаемые местными фашистами, обращаться с евреями? При Муссолини евреи подвергались издевательствам, но никто не хотел их массового уничтожения. Что произойдет теперь?

В наступившем хаосе возникла необходимость искать ответы на все эти вопросы в Торе, и вообще Ветхом Завете. Что у раввина на сердце, что он думает о происходящем, что он может сказать в поддержку своим еврейским друзьям в Венеции, – ведь оккупация Риеки немцами дело времени – все эти вопросы мучили прихожан синагоги. Бернштейн не хотел показаться трусом. Его старый друг, ашкеназский раввин Шмуэль, у которого он остановился, поддержал его желание сказать необходимое: «Как гость, ты можешь себе позволить быть более откровенным, чем я».

«Не стоим ли и мы на горе Нево, – начал он свою проповедь, – не стоим ли и мы с Торой на руках рядом с Моисеем, глядя за Иордан, словно через нашу лагуну, и страстно желая обрести землю обетованную, страну надежной свободы, где восторжествует Шалом? С севера нас теснит смертельный враг, жертвой которого стали уже многие из нашего народа. И еще неизвестно, действительно ли заслуживает доверия сила, движущаяся с юга, на которую многие надеются. Земля Израиля тоже находится в неопределенном положении, не окажется ли и она на линии фронта между двух сил, перемещающихся по пустыне? Так бывало и раньше, и наше место – на линии фронта.

Но друзья, будет ли переход через реку в неизвестную страну спасительным исходом, приносящим счастье, или там нас встретит только вражда, ужасы которой мы еще себе не представляем? Мы хотим верить в лучшее. И наша надежда не тщетна. У нас есть слово Вечного. Престарелый Моисей передал его Иисусу Навину, а тот донес его до нас: «Господь сказал: не бойся, Я с тобой во всем, что ты будешь делать»».

Рабби Бернштейн долго толковал этот текст, так что человек в кожаной куртке получил большой материал для записи.

Когда в полдень зазвонили колокола соседней церкви Мадонна-дель-Орто, на площадь перед синагогой высыпали возбужденно спорящие друг с другом евреи. Такого они не переживали уже давно: раввин, несмотря на свою молодость, уже настоящий проповедник, называл вещи своими именами.

«Но кто был этот человек в черной кожаной куртке на задней скамье? Ктонибудь его знает?» – «Конечно, шпион, кто же еще? Мы уже привыкли. Будем надеяться, что его тронет речь раввина», – наивно ответил Аарон Симионе женщине, задавшей наивный вопрос своей матери.

«Эти направлявшиеся домой люди не понимали, насколько близко исполнение пророчества раввина из Риеки», — Аарон сделал длинную паузу, чтобы перевести дыхание и продолжал свой рассказ. Теофил стенографировал и позже записал своими словами эту драматическую историю.

Через несколько дней после шаббата, в сумерки, в квартире раввина Шмуэля поднялась тревога. Он как раз налил своему гостю из Хорватии вино Мерло-супериори, когда ворвался Симсон, младший брат кантора: «Рабби, меня послал мой брат. Он с невесткой уже в дороге на Мурано. Она на четвертом месяце беременности...»

Он запыхался и тяжело дышал. Озадаченный Шмуэль спросил: «А что там на Мурано? Успокойся, Симсон».

«На Мурано ничего, а вот у нас скоро будет кое-что! Я был около часа назад на Сан-Марко. Там собрались немецкие солдаты и фашисты в нарукавных повязках. Я подкрался как можно ближе и думаю, понял совершенно точно, что сказал эсэсовский офицер, который стоял в центре — я ведь достаточно долго был в Германии — «Завтра утром на рассвете мы захватим гетто». Я свернул за Дворец Дожей и пустился бежать. Мой брат долго не раздумывал. Он только сказал: «Беги к раввину, сообщи ему. Больше мы ничего сделать не можем. Мы отправимся к моему другу на Мурано. Он не еврей, но мы всегда держались вместе. Там мы в безопасности». Мирьям быстро собрала чемоданчик, а Аарон сказал: «Отправляйся в Триест к дяде Захео. Завтра отбывает корабль, а сегодня ночью спрячься на Лидо, на еврейском кладбище». И потом они вместе ушли через заднюю дверь».

Симсон без сил опустился на стул. Шмуэль побледнел: «Что они с нами сделают? Что мы можем предпринять? Времени слишком мало, чтобы посылать к другим вестника. Скоро площадь оцепят, и она будет охраняться всю ночь».

«Действительно, мы попали в ловушку, — подумал Бернштейн. — Ты спрашиваешь, что они сделают? Я тебе отвечу: с синагогой поступят так же, как в Германии. Поджигать ее не станут, потому что побоятся пожара во всем квартале — они разрушат ее изнутри. Все дома будут прочесаны, жителям прикажут через час собраться на площади с целью «переселения». Это специальное слово, которое означает депортацию в концентрационный лагерь. Кто окажет сопротивление, будет расстрелян. Потом длинная процессия из мужчин и женщин, стариков и детей, здоровых и больных потянется через Иордан к вокзалу, где их ждет товарный поезд с машинистом, ждущим приказа трогаться. Один мой коллега из Германии сказал мне однажды: «Что бы делали Гиммлер и Гейдрих без исполнительных машинистов?» У вас в Италии машинисты тоже исполнительны».

Симсон вмешался: «Я не позволю увезти меня на бойню. Я последую совету моего брата».

Рабби Бернштейн продолжил: «Знаешь что, мы сделаем это втроем. В Триесте я ориентируюсь хорошо и знаю, как оттуда добраться до Риеки. Лучше всего отправляться сейчас же».

Шмуэль поднял руки: «Я старый человек, я вышел на финишную прямую. Я останусь с народом. Теперь послушай меня», — он уперся руками в колени и продолжал торжественным тоном, проговаривая каждое слово:

«Если они разрушат нашу синагогу, то, когда все будет позади, ее можно будет восстановить. Утварь можно приобрести снова. Но если они выбросят в лагуну нашу Тору – этого я не переживу».

Он встал, посмотрел своему гостю в глаза долгим взглядом:

«Яков, ты молод и силен. У меня есть большой чемодан. Если ты уйдешь сейчас, сможешь ли ты взять с собой Тору, прежде, чем она попадет в руки фашистов и будет уничтожена? Или лучше: мы сделаем пакет, хорошо ее завернем и перевяжем. Яков, Вечный вознаградит тебя за это. А когда закончатся война и фашистское безумие, быть

может, эта Тора сможет вернуться назад или найдет новый дом. Главное – мы сбережем ее, ведь Тора – это жизнь».

«Я готов это сделать, – сказал Бернштейн, и Симсон энергично кивнул, – но надо торопиться, если мы хотим использовать последний шанс. Сейчас, немедленно».

Почти через час гондольер, собираясь пришвартовать свою гондолу на ночь на Рио-делла-Мизерикордиа, с удивлением смотрел на быстро идущих через мост, ведущий из гетто Нуово к Калле-Цаппа, двух мужчин с тяжелыми сумками, в беретах и толстых шарфах. Они постоянно оглядывались, как будто боялись преследования. У одного из свертка за спиной высовывались два деревянных грифа.

Гондольеры — это гондольеры. По своей профессии они не болтливы и деликатны. Иначе как бы они могли делать бизнес с торговцами или любовниками, которые им хорошо платят за молчание? К тому же они дружелюбны ко всем. Дружелюбие — это их профессия.

Симсон был знаком с некоторыми из них. В конце моста он вдруг остановился и посмотрел назад на занятого швартовкой гондольера в соломенной шляпе:

«Роберто, это ты? Не хочешь ли сделать еще одну поездку?»

«Уже слишком поздно, да я и устал...», – прозвучало в ответ.

«Мы хорошо заплатим. Нам надо до станции Санта-Лючия к ночному поезду на Триест. Ты получишь вдвойне».

Слава Всевышнему, Роберто позволил себя уговорить, помог обоим сесть в гондолу. Венецианская гондола, как известно, самое безопасное место на земле.

«Вы нагрузились, как ослы», – шутливо заметил Роберто. Яков Бернштейн засмеялся в ответ:

«В каком-то смысле мы и есть ослы», – и Симсон подхватил: «Кто еще настолько глуп, чтобы отправляться в дорогу, на ночь глядя. Но надо – значит, надо».

«Главное, чтобы вы успели вовремя», – ответил Роберто.

Времени им хватило в обрез. На вокзале Симсону долго пришлось стоять в очереди перед окошком билетной кассы. Внутри было полно людей в форме, а между ними сновали полевые жандармы с серебряными значками на груди. Они выполняли обязанности вокзальных полицейских. Поезд, в который Симсон и Яков втиснулись перед самым отправлением, был забит до отказа. Для них обоих, сидящих в проходе на чемодане Бернштейна, эта теснота была очень кстати — ни один контролер не смог бы протолкнуться в такой массе людей. Кто знает, что бы с ними случилось, если бы они послушали совета Аарона и попытались перебраться на Лидо, а оттуда плыть на материк кораблем, который, скорее всего, проверяли. А так они смогли даже немного вздремнуть, облокотившись друг о друга, под равномерный стук колес поезда.

Жена Аарона подлила Теофилу чай. Утомленный кантор заканчивал свое повествование:

«Выбрались оба, мой брат и молодой раввин. Симсон остался после войны в Триесте. Историю их побега он рассказывал мне раз сто, — засмеялся Аарон. — А что произошло с Яковом Бернштейном, я не знаю. На следующий день, рано утром, гетто постигла злая судьба. Отряд эсэсовцев и дюжина фашистов заняли площадь, они врывались в каждую квартиру и давали жителям меньше часа на сборы. Каждый имел право взять с собой двадцать килограммов багажа. Дьявольский трюк, поскольку там, куда они попали, никакой багаж уже был не нужен.

Старый раввин Шмуэль и его экономка отказались следовать приказу, поскольку знали, к чему все это приведет. Их выгнали на площадь, избили и расстреляли у дверей их собственного дома – для устрашения других. Это их спасло от многого.

Около двухсот пятидесяти евреев из гетто потянулись в лучах восходящего солнца через город к товарной станции, мимо глазеющих на них пешеходов, спешащих на работу или на рыбный рынок.

На следующий день эсэсовцы разгромили помещение синагоги, забрали с собой всю утварь. Только когда все осталось позади, я и моя покойная жена осмелились выйти из дома. Я думаю, что произошедшее было страшнее, чем эпидемия чумы в семнадцатом веке».

После долгого молчания Теофил откашлялся:

«Вы доверили мне невероятную историю. И тот факт, что все это делалось от имени моего народа, остается для меня раной, которая не заживает. Даже если некоторые из молодого поколения делают вид, что это их не касается».

Старый кантор вдруг повысил голос:

«А почему немцам должно быть исключение? В нашей Торе написано: «Господь наказывает за злодеяния отцов детей и детей детей до третьего и четвертого поколения!»»

Его немецкий гость был поражен этим беспощадным толкованием: «Я никогда не слышал такой трактовки немецкой истории. Но я бы охотно послушал, как интерпретирует Тору человек, прошедший через это чистилище. Разрешите мне задать Вам последний вопрос: как Вы думаете, жив ли еще раввин Бернштейн? Только он смог бы мне сказать, какова дальнейшая судьба Торы, которую он взял с собой во время бегства».

«К сожалению, я потерял с ним связь. Здесь я могу Вам посоветовать лишь одно: поезжайте в Риеку, это недалеко от Триеста. Там в восстановленной и вновь действующей синагоге Вам может быть, расскажут, где Бернштейн. Ему сейчас должно быть около восьмидесяти. Попробуйте, может быть, Вам повезет!»

XVII

Поездка по Фриули, стране ясного неба и чудесных пейзажей, была истинным наслаждением. Современный региональный экспресс почти бесшумно скользил через виноградники и оливковые рощи, мимо маленьких хуторков и усадеб с широкими крышами, покрытыми зеленоватой от мха черепицей. Вокзал в Триесте был слишком переполнен и будничен для такого красивого города, но впечатление о нем улучшилось после того, как Теофил выпил на привокзальной площади в лучах послеполуденного солнца кофе с молоком и великолепными кокосовыми рогаликами.

На автобусной остановке перед бистро рекламировалась автобусная поездка по Словении до Риеки. Собственно, он собирался взять напрокат машину, но потом подумал, что на словенской и хорватской границах могут возникнуть проблемы. Автобусная поездка через северные Балканы, как и все в жизни, когда-то случается в первый раз. Он вспомнил «В Балканских ущельях» Карла Мая.

На следующее утро он сел в автобус, чьи несколько потускневшие бока намекали на его почтенный возраст. Проблему визы уладил второй водитель за наличные доллары. Вокруг Теофила кипела жизнь. Пестрое общество: женщины в ярких платках, мужчины в красных фесках, торговцы в тюрбанах и между ними

несколько скучно одетых европейцев. Но ко всему этому он быстро привык. Рядом с ним сидела крестьянка с морщинистым, коричневым от загара лицом, с живыми сероголубыми глазами; она постоянно что-то тихо бормотала, но Теофил не решился заговорить с ней по-немецки.

Наверное, немецкий язык здесь хотят услышать меньше, чем любой другой. В конце войны здесь проходили жестокие бои с огромными человеческими жертвами. Погибли тысячи мирных жителей. Югославские партизаны под командованием Тито оказывали ожесточенное, успешное и очень хорошо организованное сопротивление захватчикам с севера и северо-запада.

Истрия была для немецких сил воротами на Балканы, и в начале им противостояли только партизаны Тито. По вопросу о партизанах немецкая армия и эсэсовцы полностью сходились во мнениях: к ним не может быть никакой пощады. «Пленных не брать», – гласил приказ.

Это было «однажды», пять десятилетий назад. А сегодня Теофил едет в этом трясущемся автобусе на жестких сидениях, пусть не совсем комфортно, зато безопасно. Едет через местность, где камни рассказывают об адском финале этой войны на истребление, которую вероятно, его соседка пережила ребенком.

В какой-то степени даже хорошо, что он молчит. Позади беспокойный день, впереди волнующая встреча. Если бы не живописные отроги и ущелья за окном, он бы, несмотря на тряску и «кашель» автобуса, уже провалился бы в сладкую полудрему рядом с бормочущей женщиной.

Риека — один из больших городов недавно ставшей самостоятельной Хорватии. Нужно быть хорошим следопытом, чтобы с «кухонным» английским найти дорогу к единственной в городе синагоге. Но Теофилу повезло. На восстановленной средневековой рыночной площади он увидел выходившего из книжного магазина молодого человека в черной шапочке и с пейсами.

«Извините, я ищу синагогу».

«О, а что Вы там хотите?»

Теофил сразу перешел к делу: «Я бы хотел поговорить с раввином или кантором». Молодой человек теперь уже дружески и с интересом улыбнулся ему:

«Судя по Вашему английскому, Вы из Германии? Называйте меня Шломо. Конечно, я знаком и с раввином и с кантором. Кантор немного говорит по-английски».

Теофил представился и не стал скрывать, в чем дело:

«В сущности я должен узнать только одно: жив ли еще раввин, служивший здесь в конце войны. Его имя Яков Бернштейн».

«Гм, – откликнулся его собеседник с подкупающей открытостью, – мы, евреи, обычно не бываем в восторге от христианских священнослужителей, а от немецких тем более. То есть, Вы понимаете? Но Вы не похожи на юдофоба. Я бы Вам с удовольствием помог, но что касается раввина Бернштейна – это вопрос не ко мне. Кантор может Вам все рассказать. Я запишу Вам его адрес. Вы долго пробудете в Хорватии?»

«Я думаю, около недели. По дороге сюда я открыл, что это прекрасная страна, но сначала я должен найти раввина Бернштейна».

«Знаете что, – сказал Шломо, вдруг обратившийся в саму любезность, – у моего соседа прокат автомобилей. На неделю стоит взять тачку – тогда Вы независимы и можете побывать везде».

Через час Теофил уже сидел в маленьком «Фиате» и через полчаса, примерно ко времени, когда все пьют кофе, он припарковал машину перед пятиэтажным домом, в котором живет Иосиф Кролович. Кантор оказался приветливым мужчиной около шестидесяти, со звучным голосом и живыми глазами. У него были необычно большие уши и шикарная борода без единого седого волоса.

«Заходите, мы как раз пьем кофе. Немец и христианин – с теми и другими у нас были проблемы. Но сегодня, слава Богу, настали новые времена. Садитесь, пожалуйста».

Теофил провалился в глубокое кресло. Мириам, хрупкая жена кантора, без церемоний налила ему кофе и придвигнула тарелку с печеньем.

«Я понимаю, что Вы хотели сказать, – начал разговор Теофил. – Наверняка Вы еще помните немецкую оккупацию?»

«Я вырос здесь. В конце войны мне было восемь лет. Это время остается в памяти», – ответил Иосиф. Он вспомнил картины детства: танки на улицах, висящие на занятых домах знамена со свастикой, марширующие колонны, какую-то годовщину, которую отмечали нацисты, бои в домах во время ночных партизанских вылазок, бомбардировки и горящие дома, развалины и обломки, и, наконец, отступление немцев.

«И самое ужасное, что я видел — это охваченная пламенем главная синагога! Эсэсовцы заминировали и взорвали вестибюль. Заднюю половину они сожгли до тла, так как боялись, что партизаны будут использовать купол как дзот для зенитчиков. Кантор спас нашу Тору накануне ночью. Он спрятался вместе с ней у друзей-христиан, в деревне, недалеко отсюда. Раввин смог убежать в горы. Многие евреи, которые не смогли скрыться, были депортированы в Треблинку или Марибор. Мой отец был у партизан, моя мать спряталась со мной у крестьян в деревне».

«Как звали того раввина, который скрылся в горах?» - спросил Теофил напряженно.

«Мне не терпится узнать, – воскликнул Иосиф, – зачем Вам его имя? Почему немецкий пастор желает узнать имя бывшего раввина?»

Теперь для Теофила настал момент рассказать свою историю. Кантор наклонился вперед и слушал своего гостя со все большим напряжением и удивлением. Когда Теофил наконец подошел к рассказу Аарона Симионе в Венеции у Иозефа вырвалось:

«Вы были у Аарона? Аарон Симионе! Петух перевернется на сковородке! Мы знакомы тыщу лет! Я учился у него в школе канторов. Если Вы хотите — он мой учитель. Вы удивляетесь — мы, евреи, интернациональный народец, но наш язык в шаббат везде один и тот же...»

«Дорогой господин Кролович, Вы меня мучаете – мой важнейший вопрос Вы...»

«Excuse me, я тоже становлюсь стар. Имя нашего раввина было Яков Бернштейн. Двенадцать лет назад он прекратил службу и переехал в пригород Загреба. Я его очень любил. Однажды он мне рассказал, что смог вернуться только спустя несколько недель после окончания войны. Его здоровье было очень неважное».

Теофил подскочил: «Вы думаете, он еще жив? Я бы многое отдал, чтобы с ним поговорить».

«Если бы он умер, я бы непременно об этом узнал, – возразил Иосиф. – Его адрес Вы найдете в телефонной книге Загреба».

Кролович до сих пор не мог поверить в то, что ему рассказал немец о новой синагоге в России, о подаренном свитке Торы и как его гость напал на след происхождения свитка. Он перевел услышанное своей жене. Она только удивленно качала головой. Наконец, она сказала что-то по-хорватски своему мужу.

«Моя жена спрашивает, устроились ли Вы на ночь. Сегодня Вы уже не доберетесь до Загреба. Вы можете переночевать у нас».

Теофил медлил, однако отказаться было бы против всех правил гостеприимства. Иосиф Кролович молча встал, положил руку на плечо своему гостю, а потом пошел к шкафу за сливовицей.

XVIII

По сравнению с ухабистой горной дорогой по Словении, путь в Загреб оказался необычайно легким для «Фиата» и его водителя. Теофил припарковался перед почтамтом и быстро нашел в телефонной книге: «Бернштейн, Яков, улица Титовского 40». Он набрал указанный номер. Ответил мягкий женский голос. Теофил собрал все свои знания английского, чтобы объяснить, откуда он, и что он звонит по совету и рекомендации Иосифа Кроловича из Риеки. Наконец он услышал желанный ответ: «Please, come you, my husband is here».

Он оказался перед шестиэтажным панельным зданием. Двери дома были открыты. Когда он поднялся по лестнице на четвертый этаж, его пульс бешено бился – и не только от количества пройденных ступенек. Сейчас он будет стоять перед человеком, полвека назад спасшим из гетто Нуово ту самую Тору, которая теперь будет читаться каждый шаббат на севере России!

Ему открыла Эстер Бернштейн, хрупкая женщина, оставшаяся красавицей и в старости, с белоснежными волосами и темно-карими глазами.

«Вы пастор из Германии? – приветливо улыбнулась она. – Я не расслышала по телефону Ваше имя».

Теофил представился и, переведя дыхание, сказал:

«Вы даже не можете себе представить, как я рад, что нашел Вас».

«Мой муж ожидает Вас. Он плохо ходит. Но Вам повезло, — он очень хорошо говорит по-немецки. В гимназии он увлекался Генрихом Гейне и Лессингом и выучил их язык». Теофил, сам страстный поклонник Лессинга, был готов ее расцеловать, но ограничился лучезарной улыбкой. Сухопарый, седой, интеллигентного вида мужчина с холеной бородкой, в старомодных круглых очках напомнил Теофилу его профессора по Ветхому Завету в Тюбингене. Старый раввин протянул ему правую руку, оставаясь сидеть в деревянном кресле-качалке.

«Извините, что я сижу. Мои ноги не хотят меня больше слушаться. Они проделали долгий путь. Что Вас привело именно ко мне?»

Теофил приступил сразу к делу:

«Речь идет о Торе, которую Вы спасли из гетто Нуово».

Бернштейн ошеломленно взглянул на посетителя.

«Повторите, пожалуйста, еще раз».

«Верите Вы мне или нет, господин Бернштейн, эта Тора сейчас находится в Карелии, у одной возрожденной еврейской общины, в первой синагоге, открытой в

России со времени нападения немцев в тысяча девятьсот сорок первом году. И я помог ей найти там новую родину».

Бернштейн снял очки и позвал, от волнения – по-немецки, свою жену, которая находилась на кухне:

«Эстер, иди сюда! быстрей, пока я не сошел с ума!»

Его жена ворвалась в комнату и бросилась к раввину:

«Что с тобой, Яков, что тебе нужно? Что этот господин тебе...»

Бернштейн прервал ее: «Он говорит, что знает ту Тору, которую я тогда отнес партизанам. Быстро принеси сливовицу. Рассказывайте, господин Бетшер, рассказывайте!»

«Вы можете называть меня Теофил».

«Прекрасное имя, греческое, не так ли?»

«Именно так. Буквально означает: «Богом любим»».

«Как и мы все! – возразил Бернштейн, радостно-возбужденно. – Не любимы ли мы все Всевышним, и евреи, и христиане, и мусульмане? Как по-другому мы должны были бы решать сегодняшние проблемы, если бы не осознали этого – проблемы на Балканах, на Ближнем Востоке, в Палестине...»

Эстер принесла рюмки и графин с ароматным сливовым шнапсом. «Прежде, чем мы перейдем к политике, расскажите Вы, Теофил. Мы, как это у вас говорят, напряжены, как зонтик. Но сначала мы чокнемся!»

Теофил не торопился, у него было много времени. Он хотел изложить все как можно подробнее, и его не перебивали. Он начал со своего возвращения из Воркуты, как он впервые поехал в Венецию свободным человеком, рассказал о своем первом пути через гетто Нуово к Санта-Мария-делла-Салюте, о пересмотре своих взглядов во время учебы, когда он впервые начал заниматься иудаизмом, еврейской традицией, Торой, псалмами, пророками, Мартином Бубером, Беном Хорином.

Бернштейн время от времени задумчиво кивал и переводил основное своей жене. «Пастором я стал в Вюртемберге, в Тюбингене на Некаре. И потом случилось нежданное: Горбачев, перестройка и гласность».

На этом месте раввин прервал излияния своего гостя:

«Мой зонтик, кажется, не выдерживает. Что общего имеет Горбачев с Торой из гетто?»

«Очень даже многое», — засмеялся Теофил и поведал о событиях, приведших к побратимским связям, к первым контактам с евреями Петрозаводска и к идее помочь с созданием синагоги, пожертвовав Тору.

«После первой службы в шаббат я обнаружил на свитке знаки: Ven. G.N.»

Бернштейн подался всем корпусом вперед, его качалка пришла в движение.

«Это сделал я! Эти буквы нанес я, когда был смертельно болен и должен был отдать Тору другим, чтобы каждый, кто возьмет ее в руки, смог узнать, кому она раньше принадлежала. Я очень торопился».

Теперь Теофил смотрел, как завороженный, на сидящего напротив него человека.

«Пожалуйста, Яков – разрешите называть Вас Яков? – пожалуйста, расскажите!» Бернштейн откинулся в кресле и засмеялся, тряся головой, как будто очнулся после долгого сна, потом кивнул и начал свой рассказ, слегка покачиваясь в кресле:

«Вы уже слышали от Аарона Симионе, что произошло в гетто той осенью, и как мы с его братом Симсоном совершенно чудом выбрались в ту ночь из Венеции. После того, как мы сошли с поезда в Триесте, мы расстались. Симсон пошел к своему дяде, как его звали? Кажется Захэус или как-то так.

Мне нужно было добраться оттуда до Риеки, не угодив в лапы немецким солдатам или усташам. У родственников в Триесте я достал большой рюкзак, в котором хватило места для запакованной Торы, сбрил бороду, закопал в землю свою одежду раввина и оделся как батрак. Если бы кто-нибудь меня спросил о содержимым рюкзака, я бы ответил, что несу домой с рынка канистру с подсолнечным маслом. Три недели я ночами пробирался через Словению и Хорватию. У меня была хорошая карта, и я старался избегать оживленных дорог. Это было чудо, как и многое в моей жизни, что мне удалось благополучно дойти до Риеки. Только однажды, неподалеку от города, меня остановил патруль. От жандармов несло шнапсом, было видно, что они устали. Сердце мое колотилось. Луч карманного фонаря дрожал над моим паспортом. К счастью в нем не была обозначена моя профессия. «Тебя зовут Ф-фээрнштейн? Давай проходи», – пробормотал парень заплетающимся языком, и ему не надо было повторять дважды.

Незадолго до полуночи я добрался до нашей квартиры около синагоги. Эстер уже давно была в постели и очень испугалась, когда раздался стук. Она подумала, что уже пришли немцы.

Ну и встреча у нас была!

«Что там у тебя в рюкзаке?» – поинтересовалась она.

«Да канистра с подсолнечным маслом». Но прежде, чем у нее вырвалось радостное «Аллилуйя», я рассказал ей правду. Рюкзак с драгоценным сокровищем я положил на хранение в хранилище синагоги».

Яков сделал паузу, позволил себе глоточек сливовицы. Эстер исчезла на кухне, поскольку дальнейшая история была ей известна, хотя прошло уже более полувека.

Между тем был конец октября тысяча девятьсот сорок четвертого года. Немецкий дивизион горных стрелков и артиллерийская часть СС вступили из Австрии в Словению и, почти не встречая сопротивления, продвинулись через Риеку к Адриатическому морю. Тысячи солдат вермахта и частей СС распределялись по городу, квартировались по домам — в основном мирно, но чаще всего никого не спрашивая — как это обычно бывает во время войны, когда перечеркиваются все десять заповедей, в данном случае — седьмая.

Так позвонили и в дверь к Бернштейнам. Яков страшно испугался, увидев перед собой двух эсэсовцев. Их можно было отличить по пресловутым знакам на правой петлице. Один из них был офицером в звании майора, примерно двадцати пяти или двадцати шести лет — очень высокий блондин с открытым, довольно приятным лицом. У другого на левом рукаве был нашит уголок — знак отличия ефрейтора, и он был, повидимому, денщиком офицера.

«Извините, мы ищем квартиру. Нет ли у Вас комнаты для нас двоих? – спросил офицер. – Моя часть стоит здесь неподалеку. Мы не доставим Вам много хлопот, и в ближайшее время боев не ожидается».

Бернштейн поборол панику, удивляясь, почему эти немцы такие вежливые. Почему они просто не берут то, в чем нуждаются. Но, возможно, это предусмотренная тактика. Вероятно, они хотят завоевать симпатии местного населения, склонить их на

свою сторону, чтобы привлечь к сотрудничеству в борьбе с партизанами и продвигающимися с юга союзниками.

Нужно быть осторожным и в меру доброжелательным. Но понял ли майор, что он позвонил в дверь к раввину? С другой стороны, не мог бы офицер в доме стать защитой для него и для синагоги? Как бы то ни было, Яков ответил приветливо-деловым тоном:

«Наша квартира просторная, и мы бездетные, поэтому для Вас места достаточно. Есть кровать и диван, на котором можно спать».

«О, большое спасибо. Мы не требовательны. Во время наших переходов нам приходилось по несколько дней ночевать в палатках. Как видно, нам посчастливилось, вы очень хорошо говорите по-немецки. Скажите, что за здание здесь рядом, может быть это церковь?» Майор указал налево в сторону синагоги.

Якову Бернштейну стало ясно, что обман здесь не поможет.

«Что-то в этом роде, – сказал он. – Это наша главная синагога, и я в ней раввин». Теперь пришла очередь майора задержать дыхание. Он отвел глаза в сторону, пять долгих секунд он молчал. Потом посмотрел раввину прямо в глаза.

«Господин раввин, если бы я сейчас повернулся и ушел, это было бы не только трусливо и бестактно, но и непорядочно. Мы солдаты, и точно знаем, что войска СС это не то, что гестапо или политическое СС. Мы хотим вместе с вермахтом только одного: выиграть войну против большевизма. И нам остается только надеяться, что партизаны Тито оставят нас здесь в покое».

Партизаны Тито! Для Бернштейна они не имели ничего общего с большевиками Сталина, они просто по праву защищают свою родину. Но сейчас он поступил в соответствии со старой мудростью Иисуса сына Сираха: «Все, что ты говоришь, пусть будет правдой, но не все, что ты считаешь правдой, ты должен говорить». Поэтому он промолчал и позволил немцу продолжать дальше:

«Мы с благодарностью принимаем Ваше предложение, и я Вам обещаю, пока я нахожусь здесь, ни с Вами, ни с Вашей женой ничего не случится».

Он подал ефрейтору знак, и тот пошел к автомобилю, стоящему за углом, чтобы принести вещи.

Новоиспеченный майор войск СС в квартире раввина – бывало и такое в дебрях этого безумия. Был и Курт Герштейн, и другие в СС, которые старались предотвратить самое страшное и посодействовать хорошему, где только возможно.

Когда Бернштейн представил своей жене Эстер незваного гостя, можно было заметить, как она испугалась. Она ничего не могла произнести кроме «Добрый день». Муж посмотрел на нее со значением, и она поняла сигнал: «Будь приветлива, ради всего святого, будь приветлива!» Он отворил дверь:

«Господин майор», — так и нужно к нему обращаться: «господин майор», — вот та комната, о которой я говорил».

Комната уютная. На окнах над кроватью светло-зеленые занавески. Перед диваном маленький стол, крестьянский платяной шкаф и два простых мягких стула. Что еще нужно двум солдатам, когда они приходят вечером смертельно уставшие после службы? Денщик начал складывать вещи в шкаф, а гостеприимный Бернштейн принес шнапс. Они обсудили необходимое: пользование ванной — вторая дверь от входа в квартиру — по каким дням будет стирка, приготовление завтрака.

Майор снял наконец поясной ремень с пистолетом и расстегнул стоячий воротник униформы – об этом раввин будет вспоминать через полвека, такое не

забывают. Под высоким воротником офицера на шее справа стало видно большое родимое пятно.

Теофил удивился, что Яков Бернштейн так особенно подчеркнул эту деталь. Вероятно, тогда эстетический контраст между строгим военным мундиром и прикрываемым им неловким физическим изъяном произвел на него впечатление. Существует курьезное, окруженное тайнами учение о родимых пятнах, их возникновении, возможном мистическом значении, в зависимости от того, какую часть тела они украшают. Во всяком случае, для раввина это была деталь, о которой он посчитал нужным упомянуть спустя пятьдесят лет.

Итак, теперь война непосредственно коснулась раввина и его жены. Повседневность захваченного города, жизнь в оккупированной зоне, рутина военной диктатуры, самолеты над городом, иногда немецкие, иногда английские канонады вдали — будни войны, похожие друг на друга, где бы она не бушевала, теперь на несколько недель пришли в Риеку.

Были вечера, когда Яков и Эстер совершенно мирно и даже по-дружески сидели с майором в гостиной и вели разговоры за стаканчиком сливовицы. Однажды вечером Яков Бернштейн осмелился спросить своего гостя, откуда тот родом.

«Господин майор, где же стояла Ваша колыбель?»

«Я происхожу из семьи виноградарей неподалеку от Хайльброна. У моего деда было два сына. Один унаследовал виноградники, другой, мой отец, стал пастором».

«А как – извините мой вопрос, но мы, раввины, любопытные люди, когда дело касается христиан – как Вы, сын пастора, пришли к военному мундиру?»

Майор рассмеялся:

«Мой отец был добровольцем в первую мировую войну, моя мать была дочерью кадрового офицера — таким образом, во мне течет кровь патриота и солдата. К тому же мы, лютеране, связываем такие вещи как служение отечеству с учением нашего реформатора, Мартина Лютера, хотя он и строго разделял мир религиозный, область Веры и сферу мирского. Однако, мирское он тоже отводил под покровительство Бога. И всегда одобрял профессию солдата, если солдат участвует в справедливой войне».

Бернштейн подавил желание задать вопрос, который едва сам не слетел с языка. Для него это безумие было всем чем угодно, но только не справедливой войной. Вместо этого он спросил:

«Почему Вы не стали простым солдатом, а пошли в войска СС?»

«Я могу Вам это объяснить. После окончании гимназии я хотел изучать философию и богословие. Я даже закончил один семестр. Но потом началась война. Во время освидетельствования мне предложили военно-морскую службу. Но это мне совершенно не по нутру. И тогда один хороший друг завербовал меня в войска СС. До сих пор я не пожалел и теперь не жалею. Войска СС - это войска добровольцев, к которым предъявляются особенно высокие этические требования: смелость, прямота, преданность, товарищество, чувство долга, чувство ответственности».

Раввин помедлил какое-то время, но все-таки задал «гостю» вопрос:

«Знали ли Вы тогда, какие планы были у руководства СС в отношение немецких и европейских евреев?»

«Этим вопросом в начале войны мы не интересовались. Для нас было важно одно – быть хорошим солдатом и защищать нашу родину от врагов. Если уж Вы задели

еврейский вопрос, то мой отец говорил мне: «этот вопрос стар, как христианская Европа»».

«Ваш отец был прав, — горько рассмеялся Бернштейн, — только для нас это *христианский вопрос*, который ничуть не моложе. Мой отец учил меня: «Не забудь, что Иисус был евреем», и я думаю, мы — христиане и евреи — не научились за две тысячи лет благоразумно обходиться с этим фактом».

Майор задумчиво молчал, и раввин продолжил:

«Разумеется, я знаю, что написано в вашем Завете. Верховные священники кричали перед Пилатом: «Пусть его кровь будет на нас и наших детях». Но, во-первых, священство не есть весь израильский народ, а во-вторых, казнь Иисуса осуществляла только римская оккупационная власть. И, кроме того, многие исследователи сомневаются, что это место в Библии подлинно и исторически достоверно».

Майор кивнул раввину, который становился ему все более симпатичен:

«Возможно, Вы правы. Я еще слишком мало занимался этой проблемой. Я обязательно это сделаю, когда эта война завершится — будем надеяться, нашей победой».

«Тогда для нас, евреев, будет уже слишком поздно», — едва слышно, больше для себя пробормотал раввин.

«Господин майор, — продолжал он громко, — у нас здесь мало источников информации. Мы почти ничего не знаем ни о фронте, ни о том, что происходит в тылу. Мы питаемся слухами, но один держится особенно упорно — о том, что в тылу в России и в Польше евреев сгоняют в больших количествах и убивают. Вы понимаете, что это нас беспокоит?»

Что должен был ответить на это майор? По мнению Якова, его ответ был довольно убог:

«Наш артиллерийский полк с такими делами не имел ничего общего, господин Бернштейн. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю, и если бы это оказалось правдой, конечно, это бы меня возмутило. Кроме того, все мы знаем, что на войне всегда происходят страшные вещи. Но к этой войне нас принудили!»

Он правда верил в это. Только такой верой можно объяснить, почему гитлеровские генералы и их младший командный состав, большие и маленькие гебельсы, гиммлеры и геринги, руководившие оккупированными территориями, могли рассчитывать на тупое, бездумное, бессовестное послушание и на помощь многочисленных пособников. Основная масса немцев верила — преступно долго верила — что в войне виноваты другие.

Резкий стук в дверь гостиной оборвал разговор, притом навсегда.

Запыхавшись, в квартиру ворвался вернувшийся из города офицерский денщик. «Господин майор, партизаны! Докладываю Вам, они напали на наши посты в северной части города. Трое убиты, пятеро ранены, двое из них тяжело. Когда я сюда бежал, выстрелы были слышны уже за синагогой».

Майор, побледнев, быстро встал и посмотрел на раввина:

«Вот оно, началось. Постарайтесь скрыться. Больше я не могу ни за что поручиться и ничего не могу для Вас сделать. Большое спасибо за Ваше гостеприимство. Наши консервы и коньяк мы оставляем здесь. Всего Вам доброго и удачи!»

Он бросился в комнату, быстро надел шинель, пристегнул поясной ремень с пистолетом, взял со шкафа стальной шлем и надел его. Ефрейтор последовал за ним. Они собрались молниеносно, как заведенные, совершая движения, отточенные стократным повторением. Они пришли еще раз с вещами в гостиную. Эстер уже собирала в спальной необходимые вещи. Майор остановился на мгновение перед дверью, повернулся:

«Рабби, понимаете, такова война», – и оба заторопились к выходу.

Яков Бернштейн думал только об одном: «Тора из гетто Нуово – не должно получиться так, что я принес ее сюда зря».

Он нашел Эстер в кухне, где она собирала продукты:

«Я пойду туда и принесу из хранилища рюкзак. Нам надо уйти из города. Ах, Эстер! Как часто я думал об этом моменте. Гестапо и их специальные команды поступят с нами так же, как в Белоруссии и Венеции, и войска СС, конечно, их не остановят. Атака партизан послужит предлогом для «возмездия» нам.

Майор прав, мы должны уходить отсюда. Я только сообщу кантору. Ты можешь спрятаться у твоей подруги в Превице, а я проберусь в горы к людям Тито. Может быть, там я смогу хоть что-нибудь сделать для нашей родины. Теперь это уже не может продолжаться долго. Союзники быстро продвигаются сюда с юга».

Когда Бернштейн вышел из дому, неподалеку была слышна перестрелка. Перед синагогой стояли мужчины и громко разговаривали. Он не мог как следует рассмотреть их в темноте, но ему показалось, что у двоих на руках мелькнули повязки усташей. Он побежал к боковому входу в синагогу. Внутри, на лестнице, ведущей в хранилище, он использовал только маленький карманный фонарь. Как можно тише он открыл дверцу шкафа и схватил рюкзак. Удивительно сильное и сложное чувство охватило его: в нем сочетались страх и ощущение приключения, паника и доверие Богу, Которому он вручал свою жизнь. Непроизвольно, он с большим чувством тихо прочитал молитву «Шма Исраэль».

Когда он оказался снаружи, мужчины уже исчезли. Но внезапная автоматная очередь с восточного направления привела его в смятение. «Теперь недолго и до гранатной атаки», – подумал Яков и заторопился назад, домой.

На сборы ушло не больше двух часов. Незадолго до полуночи, раввин и его жена, подгоняемые звуками стрельбы, уже торопились с тележкой по извилистым улочкам старого города. Яков опять выглядел как сельскохозяйственный работник, а Эстер, с повязанным на голове платком и в переднике, — как крестьянка, которая возвращается назад в деревню. Они были не одни. Из домов и дворов выходили люди, которые в эту полную страха ночь отправились на юго-восток, к лесам и пещерам Капелы. Кто не будет искать укрытия, когда надвигающаяся война дышит ему в затылок?

Оккупанты были даже рады, что мирные жители снимаются с места и не мешают во время перестрелок и боев. Но большинство горожан все - таки сидели по домам, не желая оставлять захватчикам свое имущество.

Для Якова и Эстер было важно только одно: не выделяться в потоке беженцев. Стоило им выдать, что они евреи, и их участь была бы мгновенно решена.

Здесь раввин Бернштейн прервал свой яркий образный рассказ, который жадно впивал Теофил. Кресло-качалка остановилось, так как Эстер принесла из кухни сервированный на большом подносе ужин. Теофил помог «коллеге» подняться из

кресла и подвел его к столу. Почти само собой разумелось, что он теперь стал другом этих двух людей – он, человек, возвративший к новой жизни в России Тору из Венеции.

Пока они ужинали, Эстер рассказала, как она скрывалась у своей подруги в Превице и целых шесть месяцев не имела вестей от мужа. Был ли он жив, арестовали его и депортировали, или нет, был ли болен, смог ли он все выдержать?

XIX

Они расстались на краю города. У Эстер осталась тележка, за спиной Яков нес большой рюкзак где лежали Тора из Венеции, немного продуктов и белья. На нем было теплое пальто, под ним связанная Эстер толстая шерстяная куртка. Раввин задумчиво кивнул при упоминании об этой детали. Он продолжал дальше.

В одной деревне в горной долине он получил сведения, где находится отряд партизан. Его поручитель только сказал: «Запомни пароль на случай встречи с караулом: «Красный Милан!»»

До партизан нужно было идти двадцать километров — это пятичасовой переход через леса и долины, через расселины и ущелья, все выше и выше в горы. «В эти места захватчики не осмеливались заглядывать», — рассмеялся Яков Бернштейн и чокнулся с Теофилом: «За красный Милан!» — этот пароль он запомнил на всю жизнь.

«На дороге во время подъема, за скалистым выступом, неожиданно я натолкнулся на мужчину с ружьем на изготовке. «Пароль!» — закричал тот. Его голова была повязана длинной пестрой шалью, и выражение лица было решительное и злое. Прерывающимся от отдышки голосом я выговорил два слова. Его лицо расплылось в улыбке: «Это хорошо, нам нужно подкрепление».

Он провел меня с основной дороги через заросли ежевики, и неожиданно мы оказались перед скрытой в скале пещерой, в которую было встроено дощатое сооружение:

«Мы углубили пещеру в горе, это наш командный пункт». Он дважды свистнул, заложив в рот два пальца, и на свист вышел «комендант».

«Что? Раввин! — воскликнул он, когда я представился. — Большинство из нас католики или атеисты, некоторые молятся Аллаху. Но ваш Бог и наш Бог — это одно и то же».

Затем он захотел узнать, что это такое громоздкое у меня в рюкзаке. Я рассказал ему, что происходило в городе, и что я ушел из города, в основном, из за Торы. «У вас надежнее всего, - сказал я им. – Могу ли я быть вам хоть немного полезен, может быть вы найдете мне применение? Это безумие скоро закончится».

Он только рассмеялся: «Нам каждый может пригодиться. Главное, чтобы сердце было на месте». Я должен был сделать глоток из бутылки, и таким образом меня посвятили в партизаны. Так я стал партизанским раввином и был дружески принят как «комилитоне», то есть «товарищ по борьбе».

Мне было отведено спальное место на земляничнике, на охапке соломы. Нас было четверо. В центре стояла печка-чугунка, дававшая достаточно тепла. Ее нежный дымок кружился в верхушках высоких елок. Один из нас был австрийский коммунист, приятный парень, сбежавший от нацистов. Он был рад, что пришел человек, понимающий по-немецки, поскольку его хорватский был очень слаб. Мы подружились, и я стал для него переводчиком.

Может быть, Вы этого не поймете, но тогда, когда речь шла о жизни и смерти, не имело значения, какую религию ты исповедуешь, кто ты, христианин или еврей, мусульманин или атеист. Споры о религии могут себе позволить, главным образом, фундаменталисты – те, кто сыт и благополучен».

Теофил засмеялся: «В Воркуте у меня был такой же опыт, я это понимаю очень хорошо!»

«Я хочу рассказать обо всем вкратце, дорогой немецкий друг Торы. У партизан было много работы — я выполнял поручения, приносил известия, собирал хворост для костра, стоял в карауле, приносил из деревней и горных хуторов продукты и готовил еду. Однажды даже застрелил оленя. На партизанские операции и ночные нападения они меня не брали. Они не решались доверить раввину партизанское ремесло, да и сам я не вызывался ходить с ними. Мой друг коммунист мне прямо сказал: «Держись от этого подальше, это не для тебя». Я тогда не очень огорчился.

Конечно, такая позиция не была до конца последовательна. Но раввин, стреляющий в людей, – я не знаю, как бы я потом примирился с собой. В конце концов, этот вопрос отпал сам собой, когда через три месяца я тяжело заболел. У меня поднялась высокая температура, вероятно, началось воспаление легких. Стояла холодная сырая погода. Война затянулась на более долгий срок, чем мы предполагали. Лихорадка не спадала. Время от времени я бредил, и товарищи боялись за меня. Сам я рассчитывал на худшее. Я посвятил в тайну рюкзака с Торой своего австрийского друга. Прежде, чем они погрузили меня на самодельные носилки, я нацарапал трясущимися руками буквы на деревянной тарелочке Торы. После этого, в сильной спешке, я передал сверток с Торой другу из Вены.

Я сказал ему:

«Скоро здесь будут союзники. Лучше всего передай ее английскому офицеру. В Венеции теперь долго не будет еврейской жизни. Он должен увезти ее к себе на родину».

Когда они меня выносили, он поднял правую руку и торжественно сказал: «Обещаю! Я позабочусь об этом». Он сказал это так ясно и просто, что я ему поверил. В этот момент, он, коммунист, был для меня ангелом, посланным мне Всевышним – хороший, надежный посланник.

Они отнесли меня в деревню к жене коменданта, которая трогательно обо мне заботилась. Она достала где-то хинин, однажды ночью даже пришел врач. Короче говоря, еще до конца фашистской чумы я кое-как поправился. Когда немцы ушли и усташи пропали с лица земли, меня отвезли на повозке, запряженной тощей лошадкой, к Эстер. Для такой работы лошадка, по мнению ее хозяина, еще годилась.

Эстер не имела понятия, в каком я состоянии, и, как у вас говорят, совсем потеряла голову. Постепенно я поправлялся, и через две недели мы вернулись назад в Риеку. Половина моей общины была все-таки депортирована, многие смогли убежать, некоторые нашли возможность спрятаться в городе. Нашу синагогу войска СС разрушили. Участвовал ли в этом мой «гость»? Вполне возможно».

Яков глубоко вздохнул, долил себе в рюмку крепкого красного далматского вина и опередил животрепещущий вопрос Теофила:

«Вам, конечно, не терпится узнать, что произошло с Торой дальше. Христинам должно быть известно, что ничего не происходит случайно. Через пять лет после войны меня посетил мой друг из Австрии и рассказал следующее.

Когда немецкие войска были вытеснены из Риеки и заняли позиции на северных отрогах Капелы, английская авиация совершила налет. Один из самолетов был сбит немцами. Горящий, он упал недалеко от командного пункта моего партизанского отряда. Летчик смог спастись на парашюте. Он был ранен и его задержали партизаны, когда он пробирался через леса. Они ухаживали за офицером и заботились о нем. Как мне рассказывал мой венский друг, когда они услышали по радиоприемнику новость о наступившем мире, он подошел со свертком Торы к англичанину и сказал ему шутливо-торжественным тоном: «Ваше превосходительство милорд, я передаю Вам по поручению нашего раввина этот пакет. Это Тора из Венеции, где сейчас нет больше ни одного еврея. Заберите ее к себе на родину и передайте в надежное место для сохранения».

И здесь произошло то, что заставило поверить в чудо даже атеистов - коммунистов. Офицер авиации произнес на ломанном немецком:

«Я сам еврей и знаю, что такое Тора. Я благодарю Вас за доверие. Я выполню то, о чем Вы просите».

Теофил, случайностей не бывает. Теперь Вы знаете, как моя Тора попала в Лондон, где офицер передоверил ее признанному соферу. Он передал свиток одному старому раввину, а тот поместил его в хранилище главной лондонской синагоги. Вскоре после этого раввин умер.

Когда закончилась война, в Венеции евреи опять собрались в маленькую общину. Они ничего не знали о судьбе своей Торы. Мои связи с Венецией были прерваны, поскольку опустился железный занавес между Италией и Югославией, где правил Тито. Тогда венецианские евреи приобрели себе новый свиток Торы. И вот теперь приходите Вы, и по моим буквам реконструируете все, как оно и происходило!»

Теофил и Яков боролись со слезами от нахлынувшего волнения, в то время как Эстер, знающая эту историю наизусть, сервировала десерт.

«А теперь довольно рассказов. Подкрепитесь десертом, который бывает у нас только для особо дорогих гостей. Кстати, и Ваша кровать уже готова».

Пятно (эпилог с продолжением) 1997

$\mathbf{X}\mathbf{X}$

Людвиг Эрлер уходил на пенсию с чувством спокойного удовлетворения. Он отдал служению церкви земли Баден-Вюртемберг сорок лет. На его счету более пяти тысяч выступлений и проповедей на богослужениях, крестинах, венчаниях, погребениях, пасторских конвентах, библейских занятиях, на церковных и светских праздниках. Более двенадцати тысяч часов он уделил работе с прихожанами и конфирмантами, бессчетное число раз посещал людей в качестве духовника, беседовал с ними, проводил разъяснительную работу вне церкви и, что немаловажно, нес на себе груз ответственности за финансовые дела церкви, нередко оказываясь втянутым в конфликты со светскими властями.

Двенадцать лет он служил деканом — настоятелем церковного округа. Он пользовался большим доверием у своего руководства, правительства города, социальных служб и в среде школьных и университетских преподавателей. Многие ведомства прислали своих представителей на торжественное чествование уходящего в отставку Эрлера. Явился сам президент высшего церковного совета и после того, как Эрлер закончил свою последнюю проповедь, выдал в адрес декана настолько похвальную тираду, что тот плохо понимал, о нем ли идет речь. Эрлер был очень честолюбив, он всегда хотел иметь вес в обществе и всегда стремился к руководящей должности, но ему было чуждо тщеславие и претила лесть. В этом приветливом швабе с Некара таился пруссак, и многие любили его именно за такое причудливое сочетание двух темпераментов.

Теофил Бетчер, недавно вернувшийся домой после своих балканских поисков, во время прощальной службы сидел в первом ряду. Когда вступил хор, его мысли унеслись в недавнее прошлое. Внезапно он увидел перед своим внутренним взором Аарона Симионе из Венеции и кантора из Риеки — кажется, его звали Карлович? Он представил, как могло звучать их пение во время последнего шаббата в синагогах гетто Нуово и Риеки.

Когда Эрлер стоял у алтаря, читая молитву о заступничестве, такой высокий и подтянутый, Теофил смотрел на этого человека с особенным, щемящим чувством. Пастор стоял перед своей паствой в переполненном церковном нефе, как стоит крестьянин в своем амбаре, полном зерна нового урожая. Теофил окинул теплым и понимающим взглядом своих коллег и руководителей, провожавших Эрлера — они, как и он сам, знали о некоторых его недостатках и слабостях. Теперь во время богослужения Теофилу впервые бросилось в глаза, как выделяется на черном таларе ослепительно белый накрахмаленный воротник Эрлера — эта его вечная привычка всегда показываться на публике с колларом, стоячим воротником священника. Коллар — это украшение или опора для умной головы? Хочет ли он показать, что занимает должность пастора, и каждый может к нему обратиться за духовной помощью? Или это знак солидарности со своими католическими коллегами, для которых повседневное ношение коллара обязательно?

Молитва о заступничестве, которую читал Эрлер, была конкретной и злободневной. Он просил Бога защитить жертв войны, насилия, угнетения и дискриминации, молил об обижаемых, обездоленных и больных; о руководящих и рядовых служителях Церкви. В заключении он молился о защите и благословлении для «наших еврейских братьев и сестер в Петрозаводске, собиравшихся вчера на шаббат».

Самая напряженная часть церемонии проводов — это заключительный праздничный прием в большом зале общины. Эрлер выслушал двенадцать торжественных речей в свою честь. Прежде, чем откроется буфет, виновник торжества должен сам выступить с речью, в которой ни в коем случае нельзя никого обойти вниманием. Главный советник по образованию не вынесет, если пастор, уходящий на пенсию, не поблагодарит его публично.

Когда, наконец, в бокалах заискрилось прекрасное местное вино «Хайльброннер штифтсберг», Эрлер подошел к Теофилу:

«Извини, что в последние дни не находил для тебя времени. Но на следующей неделе, если я все это переживу, ты должен придти ко мне в гости. У меня в погребе припасена хорошая бутылочка, и мне не терпится узнать, чем кончилось твое расследование».

Конечно, Теофил был согласен. Он не мог предположить, чем закончится эта встреча. Его жизнь и без того была полна странных совпадений, однако такого с ним еще не было.

Теофил собрался к настоятелю в пятницу вечером, после занятий с конфирмантами. Работа за неделю была сделана, конспект предстоящей воскресной проповеди составлен, по крайней мере, в голове. Он пришел без предупреждения и радовался предстоящей возможности поболтать часок за бутылочкой вина со свежеиспеченным пенсионером. Жена Эрлера была в отъезде. На звонок открыл он сам. Теофил принес позднюю розу из своего сада. На лестнице он придумал изречение, которым хотел сопроводить подарок:

«Поздняя роза от позднего гостя, слишком рано вышедшему на пенсию».

Но когда перед ним открылась дверь, от потрясения он не смог выговорить ни слова. Впервые он видел своего брата по службе в гражданской одежде. На Эрлере была расстегнутая у горла рубашка с короткими рукавами и светло-серые брюки. Внимание Теофила приковало необычно большое родимое пятно на шее справа, которое раньше скрывал стоячий воротник.

«На шее с правой стороны» – да, «на шее с правой стороны»! – промелькнуло у него в голове, – «такое не забывается», сказал рабби Бернштейн!» Теофил сразу отогнал следующую мысль. Это было бы слишком абсурдно...

«Заходи же! – приветливо воскликнул Эрлер и взял у него розу. – Что ты так уставился, никогда не видел настоятеля вне службы? Отставка – это великолепно! Я как раз сортировал книги. Кто бы мог подумать, сколько всего накопилось за сорок три года!

Проходи в библиотеку и садись, а я спущусь в погреб», – он многообещающе улыбнулся.

Теофил опустился на кресло и удивился самому себе. Конечно, его поразило не гражданское облачение настоятеля. Ему не давало покоя родимое пятно. И виноват в этом Бернштейн! Зачем ему надо было столько говорить о родимом пятне на шее своего квартиранта? В мире полно людей с родимыми пятнами. Пятна возникают там, где кожа ребенка в утробе матери по какой-то причине срастается со стенкой матки. У кого они есть, тот проносит через всю жизнь не только память о матери, но и эту отметину.

«Может быть, Каинова печать тоже была родимым пятном? – пронеслось у Теофила в голове. – Метка потенциального убийцы на всех детях Адама и Евы, знак преступления Каина, и одновременно символ заступничества Всевышнего? Какая тайна о человеке скрыта в этом мифе! И сколько пошлой трусости в том факте, что мы даем нашим детям имена почти всех библейских персонажей, кроме Каина, да еще Иуды. Почему бы, собственно, и нет?..»

Эти богословские размышления оказались прерваны возвращением Эрлера с двумя бутылками лучшего вина и сырным печеньем на подносе.

«С нетерпением жду твоих новостей. Ах, Теофил, мы проработали здесь вместе двенадцать лет, но знаем друг о друге так мало. Помнишь ли ты, как я здесь начинал?» – спросил он, откупоривая бутылку.

«Это было после терактов РАФа. Затем вышла резолюция НАТО и в Хунсрюкене установили «Першинги». Я ведь тоже принимал участие в демонстрации».

Теофил спросил, пользуясь моментом:

«Я всегда хотел тебя спросить, как ты пришел к своему пацифизму? Как случилось, что из офицера вермахта получился пастор, протестующий против установки ракет?»

Людвиг Эрлер, разливавший вино в бокалы, вдруг остановился и поставил бутылку на стол. Он посмотрел на Теофила долгим испытующим взглядом, как будто спрашивал себя, насколько может ему доверять. Вдруг он выпрямился и подтянулся, словно пришел к какому-то важному решению:

«Теофил, то, что я сейчас тебе скажу, я не говорил еще никому, кроме моей жены. На это распространяется тайна исповеди. Ты и другие мои коллеги всегда думали, что я был офицером вермахта. Но я был – и это, вероятно, тебя шокирует, – я был в войсках СС, а в конце войны стал майором».

Вот все и открылось. Теофил сидел, словно громом пораженный. Его пальцы судорожно сжали подлокотники кресла, но он не произнес ни слова. Темная, но все более определенная догадка выстраивалась в его голове. Словно издалека он слышал слова этой тяжелой исповеди:

«Меня должны были призвать в военно-морской флот. Но это было не мое. И тогда после первого семестра я последовал совету моего лучшего друга и записался в войска СС».

Теофил был словно в трансе. До него долетали только ключевые фразы:

«...и я был, веришь или нет, долгое время всей душой согласен со своим выбором».

Хриплым голосом Теофил задал вопрос:

«Где ты был в конце войны?»

«Мы воевали на севере Балкан, в Словении и Хорватии. Шла борьба с партизанами. Это было тяжелое время. Что нам оставалось делать, когда добровольцы совершали вылазки? Мы проводили чистки, и тут уж не было никакой пощады. Однажды они спрятались в синагоге и хотели использовать купол как радар, для связи со своими. Ты можешь себе представить, что было дальше. Ты же тоже был солдатом».

«Это было в Риеке?» – выпалил Теофил.

«Откуда ты знаешь, что это была Риека? – вскрикнул Эрлер. – Да, я был как раз там. Я даже квартировался в доме у раввина».

Теофилу все стало ясно. Дикая догадка обернулась правдой.

«Откуда я знаю? Ну, так держись. В синагоге была спрятана Тора, которая теперь в Петрозаводске, и на которую Ты жертвовал деньги!»

«Ты совсем сошел с ума?» – Эрлер недоверчиво посмотрел на Теофила, как будто тот над ним насмехался.

«Как раз наоборот, я давно не был настолько в своем уме», – возразил Теофил и налил вина себе сам, вопреки всем правилам этикета. Он рассказал подробно, в деталях, о своей поездке и о своих открытиях: об Аароне Симионе в Венеции, о Якове Бернштейне, о рюкзаке со спасенной Торой и, прежде всего, о подробностях пребывания офицера в доме раввина.

Эрлер слушал в напряженном молчании, время от времени подкрепляя себя глотком вина. Казалось, что родимое пятно на его шее пульсирует. «Кабинет» позднего сбора оказал свое действие. Скоро пришла очередь второй бутылки.

«Как Ты думаешь, – спросил Эрлер, когда Теофил покончил со своим рассказом, - случайно ли все то, о чем ты узнал во время поездки обо мне и моем прошлом? Или философы были правы, когда говорили: «Случайностей не бывает?»

«Может быть, нам лучше говорить: «Все есть случайность»— все, что мы переживаем, все, что нас поражает, воодушевляет или заставляет сомневаться, все, что с нами должно произойти — все, что выпадает на нашу долю по какой-то посторонней воле, по какой-то первоначальной причине, остающейся для нас тайной»?

Конечно, Теофил знал, насколько абстрактным был его ответ. Поэтому он не удивился реакции Эрлера:

«В этом мне не нравится только слово «все». Все, что происходит с нами, или в чем мы реально участвуем? Выходит, что я случайно добровольно записался в СС?»

Теофил ответил, поколебавшись, и немного сумбурно:

«Кто может знать и судить, на каких основаниях, в разное время и в разных ситуациях приходят к подобным решениям — какую профессию я выбираю, с каким партнером я себя связываю, какой выбор я делаю? Не находимся ли мы в состоянии постоянного «выбора»? Один отказывается служить в армии, другой становится профессиональным военным. Не приходит ли к ним обоим решение из самой глубины их существа — диктует ли его совесть или какие-то другие обстоятельства? Когда Ты записался в части, где носили две «С» на лацкане, ты это сделал со спокойной совестью, поскольку тогда не знал об их преступлениях. Наоборот, Ты думал, что это особенно мужественные и благородные войска. Так ты объяснил это рабби Бернштейну.

Но как обстоит дело с совестью у тех, кто занимался селекцией в Биркенау, остается для меня загадкой. Как человеку может выпасть участь стать настолько бесчувственным убийцей – для меня непостижимо. Но могу ли я быть судьей? Можно ли вообще судить, когда речь заходит об истории или политике? Я до сих пор слышу речь Густава Хайнемана в парламенте, когда он выступал против фанатичного антикоммунизма христианско-демократического союза и его политики холодной войны по отношению к Востоку:

«Христос умер за нас всех, а не против идей Карла Маркса».

«Действительно ли за всех? – вдруг спросил Эрлер. – Воистину обширное, почти непаханое поле для толкований! Попробуй, объясни жертве концлагеря, что Иисус умер за Эйхмана! Из за Эйхмана и ему подобных – да, но за него?»

«Тогда как же мы должны понимать его слова на Голгофе: «Отец, прости им, они сами не ведают, что творят», — осмелился возразить Теофил. — Но меня занимает другой вопрос, Людвиг. Почему до сих пор ты молчал об этом, и говорил, что был офицером вермахта? Нет позора в том, чтобы признать свое заблуждение открыто».

«Естественно, я ожидал этого вопроса, и ты сейчас касаешься самого больного места в моей жизни. Когда я вернулся с войны, я быстро понял, на службу какому режиму нас поставили, и насколько безумной была эта бойня. И тогда я стал убежденным пацифистом. Но представь себя в моем положении. Если уж об этом говорить, то я должен был бы сразу указать место моей службы, а не врать про какойто дивизион вермахта и солдатскую книжку, которую я якобы выбросил после капитуляции. Я был бы зачислен в группу I (главные виновники) и не смог бы продолжать занятия богословием, а следовательно, должен бы был изучать что-нибудь другое. Кто из товарищей на богословском факультете захотел бы водиться со мной, зная, что я по собственной воле записался в СС? У меня просто не хватило мужества открыться в тот момент.

А главное, во время денацификации руководство Церкви не принимало на работу принадлежавших к так называемой «преступной организации». Если бы меня даже и приняли, то с очень большими трудностями. Тогда еще не различали гестапо, СД, КС и войска СС. И как я должен был объяснять ситуацию моей общине после того, как меня рекомендовали органы церковного ведомства? Была бы дискредитирована вся Церковь региона. Я знаю, это звучит трусливо и, на сегодняшний взгляд, глупо, но это было бы слишком большим испытанием как для моей общины, так и для Церкви земли Баден-Вюртемберг. Я сказал себе, чтобы хоть как-то себя утешить: «Твое молчание никому не вредит, разве что тебе самому». И чем больше проходило времени, тем подозрительнее бы выглядело предыдущее молчание. Люди бы думали: «Сколько же он сделал ужасного, если так долго молчал?» Ах, Теофил, если начинаешь замалчивать действительность, попадаешь в западню, из которой не так легко выбраться. Из «спасительного» молчания получилось молчание тягостное и постыдное, которое стоило мне многих сил. Этому ты можешь поверить.

И теперь я хочу тебе сказать еще кое-что, и ты это хорошо поймешь, поскольку сам носил серый мундир. В нашей войне с партизанами не было почти никакой разницы между вермахтом и войсками СС. Разве что мы больше рисковали и потеряли больше людей, чем вы.

Теофил, будь честен, не делал ли и ты таких вещей, которые должен был делать как солдат? Вещей, о которых ты потом никогда не рассказывал тем, кому не надо об этом знать? И является ли тот, кто убивал в униформе вермахта менее виновным, чем тот, кто носил другую форму? В конце концов, каждое убийство безвинного является преступлением. Любая история о войне и фашизме – история преступлений. Вот и у нас с тобой получился теологический детектив».

Теофил молча кивнул после этой долгой речи. Он должен был признать за Эрлером право быть самому себе адвокатом. Он понял, что его вопрос был справедливым, но немного фарисейским, и вдруг вспомнил о своем друге Вадиме Николаевиче и о кладбище немецких военнопленных в Петрозаводске, за которым Вадим ухаживал. Вадим не спрашивал его: «Сколько русских ты убил во время войны и почему ты с тех пор об этом молчал?» Нет, вместо этого Вадим сказал: «Мы должны что-то сделать для примирения наших народов. Да и кто из нас без греха». У него

возникла потребность сделать для Людвига Эрлера что-то, чтобы ему стало легче, и он рассказал, что произошло на кладбище в Песках.

Теофил взялся за свой бокал и нерешительно произнес:

«Я думаю как раз о наших еврейских друзьях в Карелии. Я передал им от тебя особый привет. Если бы они знали, что их Тора была спрятана в синагоге, которую разрушили твои люди, если бы они узнали, в каких частях ты был, как ты думаешь, что бы они сказали?»

Людвиг Эрлер смотрел в пол, его нога подрагивала. Только теперь, после этого вопроса он осознал, из какого количества ниточек была сплетена история карельского свитка Торы.

«У меня появилась идея, - вдруг сказал он, - когда ты едешь в Россию опять?»

«Пока не знаю. Я уже думал о празднике Йом-Кипур, Празднике Суда и Прощения в начале октября, через неделю после еврейского Нового Года. Почему ты спрашиваешь?»

«Что ты скажешь, если я поеду с тобой и там, в их синагоге, выступлю перед еврейскими друзьями. Если я им откровенно расскажу, что произошло, и если я просто попрошу их как братьев и сестер тех, с кем я воевал в Риеке, простить меня? хотя это, конечно, будет нелегко...»

Теофилу не нужно было долго раздумывать:

«Это не просто хорошая, это единственно правильная идея. На следующей неделе я закажу визы в русском посольстве».

Когда поздно вечером Теофил возвращался домой, его прихожане, повстречайся они ему, сразу бы заметили, что походка их пастора была не такой твердой, как обычно.

XXI

Ночной поезд из Петербурга прибывал точно по расписанию.

Гости из города-побратима были приняты так, как принимают самых близких родственников. На перроне стояли Вадим, Надя, Дмитрий с габаем – главой синагоги и, конечно, переводчица Валентина. Их сердечные объятия совершенно ошеломили Эрлера. Солнечное утро пятницы, сияющее небо, приятная усталость от путешествия, которая быстро прошла, когда две еврейские студентки подошли к Теофилу и Эрлеру с хлебом и солью. Настоятель был торжественно представлен Теофилом, как «активист» в деле приобретения Торы – слово из советских времен, противоположное по смыслу слову «ветеран». Первый активен до сих пор, а второй был активен в прошлом, и за это его грудь украшают ордена.

Вадим завладел обоими немцами и передал их под опеку гостеприимной Надежды. Людвиг не уставал изумляться. О русском гостеприимстве он знал только из книг. Когда они сели в пыхтящий лимузин Вадима, Дмитрий успел только прокричать им вслед: «В восемнадцать часов в синагоге Эрев шаббат*. Будьте, пожалуйста, вовремя!»

После плотного завтрака Вадим в первую очередь поехал с гостями на кладбище немецких и русских солдат. По дороге он купил цветы. Для Эрлера это была волнующая поездка. Только накануне он впервые после войны опять ступил на русскую землю. Перед памятником павшим советским солдатам у него в памяти встали горящие танки в окружении под Курском, атака красноармейцев, отступление немцев,

которое ему поручено было прикрывать. Эрлер давно испытывал потребность возложить цветы к могилам бывших врагов.

В начале вечера в синагоге, где начинался Эрев шаббат, за обильным столом не было свободных мест. Эрлер никогда не видел ничего подобного. Ему все было внове: и то, как жена Дмитрия с покрытой шалью головой зажигала две свечи — в воспоминание о создании Света, о первом дне сотворения Мира и о седьмом дне, шаббате, когда создание достигло своей цели, — и Киддуш, освящение Имени Бога, и праздничное поднятие платков над двумя халами, от которых каждый по очереди отламывает кусочек и кладет себе в рот, и налитый до края серебряный бокал с вином, который передавали по кругу — от старших младшим.

Старейшины произносили «шалом алейхем»:

«Мир вам, ангелы-служители, посланцы Всевышнего, Царя Царей, Святого, благословен Он!... Приветствуйте меня словом «шалом», ангелы мира, посланцы Всевышнего, Царей, Святого, благословен Он!...»

Шаббат встречали, как невесту. За встречей последовал пир. Этот шаббат был особенным: через неделю должен был начаться Йом-Киппур, день Примирения и Покаяния. Молитвы цикла Йом-Киппур играют в еврейском литургическом календаре очень важную роль.

«В этот день пытаются прийти к согласию с самим собой и с миром. Прежде, чем Бог примирится с нами, мы должны примириться с людьми…»

Праздничный обед Эрев шаббат в этом году обернулся своего рода трапезой примирения.

Когда Людвиг Эрлер встал и попросил слова у Дмитрия, он осознавал, каким испытанием для этих людей станет все, что он сейчас скажет. Он был облачен в черный до верха застегнутый жилет с неизменным стоячим воротником. Валентина почувствовала, что сейчас будет не просто тост, и тоже встала.

«Дорогие друзья, дорогие братья и сестры по вере Авраама, Исаака и Якова в нашего Отца — Бога, который был также Богом Иисуса. Мы неслучайно приехали к вам именно накануне Йом-Киппура. На первом шаббате в вашей синагоге мой друг Теофил рассказывал вам о нас, о нашей работе, о нашей борьбе за сердца людей в Германии. В последнее время эта работа все больше нацелена на то, чтобы немцы и христиане осознали свою вину перед еврейским народом, который они преследовали столетиями — преследовали по причине собственного ослепления, бездумного послушания своему политическому и церковному руководству, от недостатка веры, от отсутствия любви или просто вследствие моральной испорченности.

Теофил уже рассказывал вам о том, как в вашем городе-побратиме Тюбингене нам удалось побудить людей доброй воли всех христианских конфессий подарить вам Тору, чтобы в Петрозаводске возродилась еврейская жизнь, которая угасла у нас. Но то, о чем сегодня должен сообщить я сам, он вам рассказать не мог. Это могу сделать только я, поскольку речь идет о моей истории, о моем собственном неправедном прошлом. В Йом-Киппур самое время вспомнить, что объединяющая всех людей вина перед Всевышним есть в первую очередь вина одного человека. Я должен исповедать мою собственную вину прежде, чем заговорю о «нашей» вине. Сегодня я должен бросить взгляд на некоторые отрезки моей жизненной истории, имеющие непосредственное отношение к вашей Торе, которая завтра во время службы скажет нам слова Всевышнего».

Все вокруг затихло и замерло, а Эрлер продолжал:

«Когда началась война, в возрасте почти двадцати лет я позволил увлечь себя. И в этом виноват не Гитлер, а только я сам — меня никто не принуждал к этому. Я поддался искушению и записался в войска, название которых вызывает самые страшные воспоминания и самые горькие чувства в сердцах и душах евреев. Я записался в войска СС из слепого идеализма и стал офицером в этих частях. Я принес в этой войне на истребление страшные несчастья вашим людям и вашей стране, а в конце войны я воевал против партизан на Балканах, в Словении и Хорватии.

Что же общего это имеет с вашей Торой? В это невозможно поверить, но Теофил обнаружил, что ваша Тора происходит из гетто Нуово в Венеции. Один раввин из Хорватии, который как раз был там в гостях, – он еще жив, и его имя Яков Бернштейн – спас ее ночью накануне ликвидации гетто и взял с собой в свой родной город Риеку. Там он спрятал ее в своей синагоге. Как раз в этом городе была расквартирована моя часть. Когда партизаны с гор совершили налет на город и захватили синагогу, чтобы устроить там опорный пункт, солдатами под моим командованием синагога была разрушена.

Но рабби Бернштейн смог спасти Тору во второй раз и бежал с ней в горы к партизанам, где он тяжело заболел. Один австрийский партизан передал свиток сбитому английскому летчику, который оказался евреем. Так Тора после войны попала в хранилище главной лондонской синагоги. И оттуда спустя пятьдесят лет она отправилась в Петербург и дальше к вам в Петрозаводск.

После возвращения с войны, когда я начал изучать богословие, из офицера СС я превратился в пацифиста и христианского богослова — но это произошло не за один день. Только со временем я понял, по какому ложному пути шел прежде. Итак, я отважился сегодня, в этот день примирения Йом-Киппур, просить вас, дорогие братья и сестры из народа, с которым связал меня Бог, вас, собравшихся сегодня на эту субботнюю службу, о прощении».

Глубоко вздохнув, Людвиг Эрлер сел. Прошло какое-то время, прежде чем друзья по застолью вышли из оцепенения и начали перешептываться. Очень медленно со своего места поднялся Дмитрий. Он понимал, что теперь имеет значение каждое произнесенное им слово. Все также молча он взял молитвенник, который лежал перед ним, рядом с серебряным киддушным бокалом, и после долгих поисков нашел нужную страницу.

«Дорогой друг и брат, — начал он, — мы все выслушали и приняли к сердцу. Мы благодарим Вас за Ваше мужество и Вашу просьбу. Кем же мы будем, если мы ее отвергнем? Кто из нас без греха? Одного мы никогда не забудем: Тора нашла у нас свою новую родину и мы, карельские евреи, бесконечно благодарны вам за это. История спасения этого свитка и история наших грехов и заблуждений — это одна и та же история. Мы все признаем это, и это не должно приводить нас в отчаяние — совсем наоборот! Я не могу сказать лучше, чем царь Давид, чьи слова мы повторяем в Йом Кипур — слова, которые касаются каждого. Я думаю, что нет лучшего ответа на то, что Вы доверили нам сегодня вечером, чем стихи сто третьего псалма:

Благослови Господа, душа моя,

и все, что во мне, – имя святое Его; благослови Господа, душа моя,

и не забывай всех даров Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от истления жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами зрелость твою; как у орла, обновится юность твоя!

как у орла, ооновится юность тво Милость творит Господь,

теснимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои,

сынам Израилевым – деяния Свои: щедр и милостив Господь,

долготерпим и благ весьма, прогневается не до конца,

и враждует не вовек. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам,

и не по грехам нашим воздал Он нам; но как высоки небеса над землей,

сильна милость Его к боящимся Его; как восток от запада далек,

беззакония наши отдалил Он от нас; как милует отец детей,

милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав наш,

памятует, что мы – персть». ****

Словно ангел пролетел через зал, коснувшись каждого своим крылом. Внезапно в едином порыве все протянули друг другу руки и один из старейшин запел:

Хевену шалом алехем –

Хевену шалом алехем,

Хевену шалом алехем!

Халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя. Амен!

Мы несем вам мир. Халлелуйя, хвалите Господа! Амен.

Так заканчивается история Партизанской Торы. В ней не так уж много вымысла. Главное, что она отчасти дает ответ на вопросы, которые Теофил задал себе в Венеции, стоя на площади перед собором Санта-Мария-делла-Салюте:

 Γ де же сегодня стоят храмы в память об окончании европейской чумы 20 века – фашизма, мировой войны и Шоа?

Пришло ли к нам осознание истоков этого безумия, *осознание коренных причин* двухтысячелетней вражды христиан к евреям, которая закончилась катастрофой, Шоа?

Возможно, первая восстановленная в России после Великой отечественной войны синагога станет Домом Бога Спасения – храмом в благодарность за окончание ненависти и за начало примирения иудеев и христиан во всем мире?

_

^{*****} Псалом 103 (102 в православной традиции). Перевод С.С. Аверинцева.

Глоссарий

Ave Maria (лат. «Радуйся, Мария») – молитва к Деве Марии, названная по ее начальным словам.

Paternoster (лат. Pater Noster – «Отче наш») – Молитва Господня, главная молитва в христианстве.

Pinot Grigio и Merlot – марки вина.

Аарон – старший брат Моисея, его сподвижник при освобождении еврейского народа из египетского рабства, еврейский первосвященник. Аароново благословение – троекратное священническое благословение сынов Израилевых из Четвертой книги Моисеевой (Числа 6:22-26).

Арон-кодеш (ивр. «священный ковчег») — специальный контейнер, «кивот», где в синагоге хранится свиток Торы.

Бар-мицва (арам. буквально «сын заповеди») - праздник достижения еврейским мальчиком в 13 лет совершеннолетия, когда он становится ответственным за свои поступки, за соблюдение законов иудаизма.

Бима (ивр.) – кафедра, на которой разворачивается и читается в синагоге свиток Торы.

Ветхий Завет — первая, наиболее древняя из двух, наряду с Новым Заветом, часть христианской Библии, Священное Писание иудаизма — *Танах*.

Восьмая заповедь в западной традиции: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

Геритейн, Курт – немецкий участник движения Сопротивления, офицер СС. Старался саботировать преступления нацистов, использовал все возможности для того, чтобы мир узнал правду о лагерях смерти.

Гетто (ит.) – район города, где проживает этническое меньшинство добровольно или принудительно. С 1516 года было образовано первое гетто для евреев в Венеции.

Декан (лат.) — зд.: управляющий церковным округом в католической и некоторых протестантских церквах (в данном случае — евангелическо-лютеранской).

Звезда Давида (ивр. Маген Давид, «Щит Давида») — эмблема в виде шестиконечной звезды, один из основных еврейских символов.

Иисус Навин (ивр. *Иехошуа бен-Нун*) – предводитель еврейского народа, преемник Моисея.

Кольбе, Максимилиан Мария — католический польский священник, монахфранцисканец, погибший в Освенциме. Добровольно пошел на смерть вместо незнакомого ему человека, отца семейства. В 1982 году причислен католической церковью к лику святых.

Кошерный (ивр.) – подходящий для употребления в соответствии с предписаниями иудаизма.

Лот — в Пятикнижии — племянник Авраама. Спасаясь с семьей от небесной кары, обрушившейся на развращенные города Содом и Гоморру, его жена ослушалась запрета, оглянувшись на погибающий Содом, и была превращена в соляной столп.

Мессия (ивр. Машиах, буквально «помазанник», иносказательно означает «царь») — Иудеи верят, что идеальный царь, потомок царя Давида, будет послан Богом, чтобы осуществить избавление народа Израиля и спасение человечества. В христианской традиции Мессия — Спаситель, Иисус Христос.

Мойра (греч.) – в греческой мифологии богиня неотвратимой судьбы.

 $\Pi ecax$ (ивр.) — еврейский праздник освобождения, в память об исходе из египетского рабства.

Раввин (арам. «учитель») — в иудаизме квалифицированный знаток Торы и Талмуда, имеющий право толковать религиозные тексты, возглавлять религиозную общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда.

РАФ (нем. *Rote Armee Fraktion* — «Фракция Красной Армии») — немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине. Ее деятельность была направлена против государственного аппарата и класса буржуазии. Основана в 1970 году.

Сефер-Тора (ивр. «книга Торы») – пергаментный свиток с рукописным текстом Пятикнижия.

Coфер (ивр.) – еврейский писец, имеющий право переписывать свитки Торы и другие религиозные тексты.

Танах (ивр.) – принятое в иудаизме название еврейского священного писания. Слово представляет собой акроним из первых букв названий трех разделов этого корпуса текстов: *Тора* – Пятикнижие, *Невиим* – Пророки и *Ктувим* – Писания.

Теология (греч. «богословие») — система философского мышления, призванная рационально обосновывать положения той или иной религии.

Тора (ивр. «учение», «наставление», «закон») – важнейшие религиозные книги евреев, состоит из пяти книг Моисея (*Пятикнижие*). Пергаментный свиток Торы (*Сефер-Тора*) – главная святыня, хранимая в синагоге.

Хайнеман, Густав — немецкий политик. Находясь на посту министра внутренних дел, в 1950 г. вышел из рядов Хритианско-Демократического Союза в знак протеста против вооружения бундесвера, был третьим бундеспрезидентом. В своей легендарной речи в 1968 году Хайнеман сказал: «Нельзя противопоставлять марксизм христианству. Необходимо понять, что Христос умер за нас всех, а не против идей Карла Маркса».

Шаббат (ивр. «он почил») – в иудаизме седьмой день недели (суббота), день покоя, в который Тора предписывает воздерживаться от работы и выполнять определенные религиозные предписания.

Шалом алейхем (ивр. «мир вам») — приветствие и название молитвы. Существует еврейский обычай в пятницу вечером (*Эрев шаббат*) приветствовать молитвой, которая начинается этими словами, ангелов за праздничным столом или по дороге домой.

Шма Исраэль (ивр. «Слушай, Израиль!») – символ веры, главная молитва иудаизма, заключающая в себе основную идею религии – единственность Всевышнего и нерасторжимость союза еврейского народа с Творцом.

Шмонэ-Эсре (ивр. «восемнадцать») – одна из важных молитв в иудаизме.